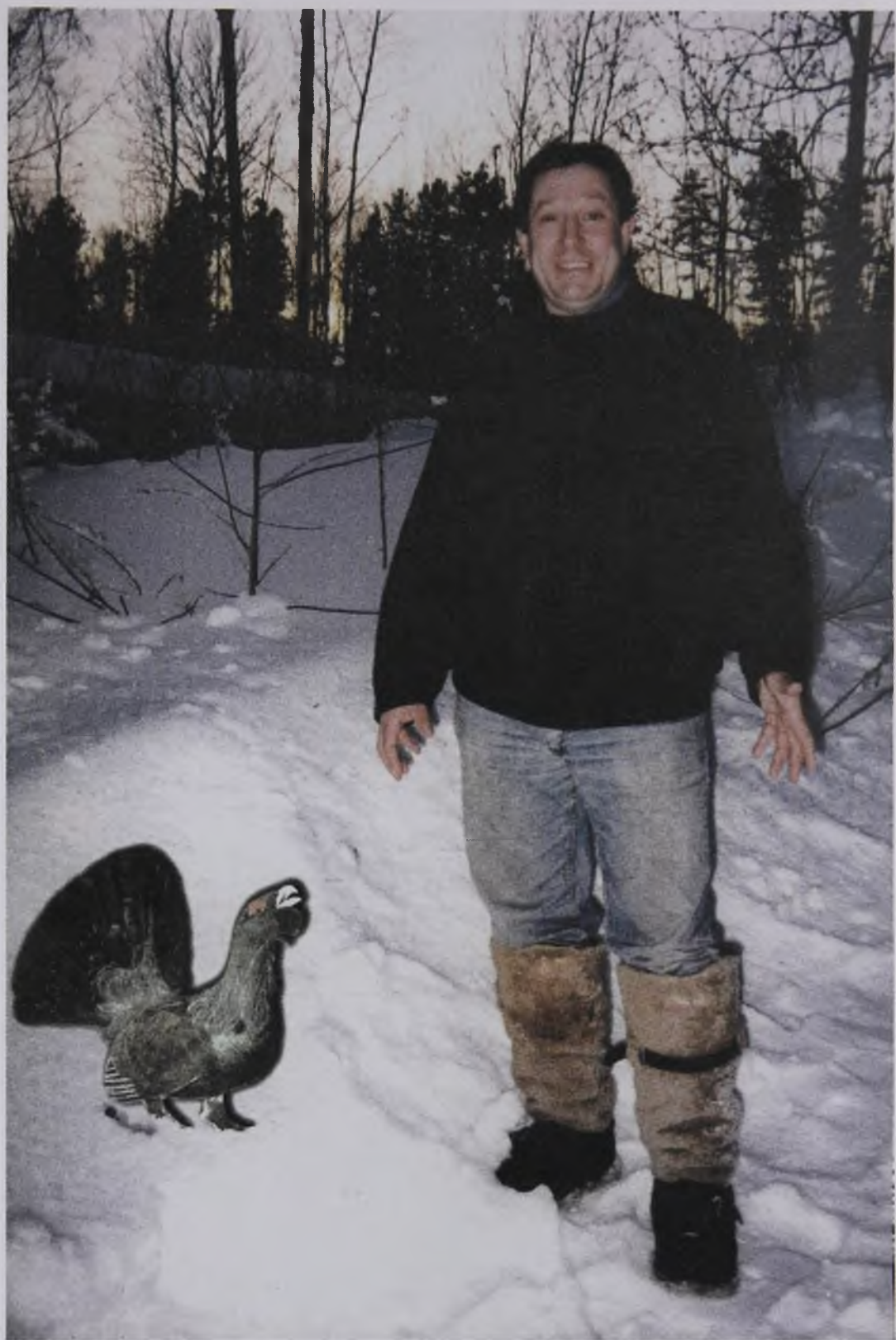


84(2Рос-Р4с)6
К М69

Валерий
МИХАЙЛОВСКИЙ

ЗИМНИК

- рѣш. дѣл (48) 206 / 17024



Валерий МИХАЙЛОВСКИЙ



ЗИМНИК

2003

св-96

- 075880 -

***125 лет
Свердловской
Железной дороге***



Книга издана на средства
Свердловской железной дороги

Валерий
МИХАЙЛОВСКИЙ

В окружном
Библиотеке
ЗИМНИК

В Мещанин

Ханты-Мансийская государственная окружная библиотека	обяза- тельный экз.
--	---------------------------

Ханты-Мансийская государственная окружная библиотека	КО
--	----

св-96

ББК 84.Р7
М69

М69

В. Михайловский
Зимник. Рассказы. Повесть. —
Екатеринбург: Издательство
«СВ-96», 2003. — 384 с., илл.

Художники:

Галина Сергеевна Ширшова,
Рамазан Нурисламович Шайхулов

Валерий Леонидович Михайловский родился 13 июня 1953 года в г. Хмельник на Украине. В 1976 году окончил Винницкий медицинский институт. Интернатуру проходил в Свердловской детской дорожной клинической больнице. Работал врачом в лечебных учреждениях Свердловской железной дороги в течение 25 лет. Из них главным врачом Линейной поликлиники на ст. Нижневартовск с 1980 года.

Печатался в журнале «Тюмень литературная», литературно-художественном альманахе Уральского округа «Чаша круговая», газете «Литературная Югра», журнале «Югра». Лауреат II премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа за 2000 год в номинации рассказ.

ISBN 5-89516-151-0

ISBN 5-89516-151-0

© В. Михайловский, 2003

На взлете

Валерий Михайловский — врач по образованию. Окончив Винницкий медицинский институт им. Н.И. Пирогова, он работает в поселке Дружинино Свердловской области. Затем, оказавшись в Среднем Приобье, служит на трассе знаменитой в свое время стальной магистрали от Тюмени до нефтяного Самотлора, возглавляя железнодорожную поликлинику.

Занятия спортом, закаленность духа в экстремальных условиях позволяют Михайловскому преодолевать любые невзгоды и тяготы, а своеобразная обстановка походных условий одаривает неординарными ситуациями-повседневками. Откладываясь в памяти, в конце концов они побудили уроженца города Хмельник в Центральной Украине уже в зрелом возрасте взяться за перо. Возможно, причиной тому непростая личная судьба его

отца, участника Великой Отечественной войны, человека одаренного, после контузий всю жизнь страдавшего головными болями, детство в обделенной достатком семье, где считали каждый рубль, каждую копейку, но при неизбывной бедности свято блюли кодекс порядочности, всегда хранили чувство собственного достоинства. И, конечно, побудил к писательству талант, который очевиден.

В одночасье Валерий Леонидович удостоивается лауреатской премии на престижном окружном конкурсе за рассказ «Зимник». Его произведения публикует и делает имя автора заметным газета писателей России и русского зарубежья «Тюмень литературная». Превосходны исповеди «Осень», «Боль», «Любимое время года», «Тишка», близки по совершенству к классическим образцам. Их таких пока немного, но они обязывают думать, что в литературу пришел самобытный мастер, какого давно ждали. Именно мастер рассказа.

Особенно удается Михайловскому природа.

Вслушайтесь!

«Гуси перестраивались на ходу: из двух ключей образовывались три, затем третий ключ снова начал вытягиваться в одну линию. Но неопытная еще молодь ломала ровные очертания. Вот пара-другая резко провалилась вниз, за ними тут же круто спланировали опытные, сильные птицы; помогли подняться, выстроиться в ряд. Сафроныч даже различал крики о помощи, затем тревожные трубные голоса кинувшихся на подмогу. Потом прозвучала команда, и вожака сменил другой прокладывать путь,

прорезая плотный воздух крепкой грудью. Сколько раз сменятся они за длинную дорогу, сколько раз замыкающие поднимут ослабевших, поддержат в пути. «Пока гуси-лебеди летают, человеку есть у кого поучиться добру, заботе, нежности и любви», — подумал старый охотник, провожая их взглядом. Он поймал себя на мысли, что даже не вспомнил про ружье. Глаза стали влажными то ли от напряжения, то ли от переполнявших его чувств».

Веще в своем естестве и величии, как дыхание — о самом главном на земле обетованной. О непреходящем, вечном. Силе жизни и любви.

Или вот еще:

«Птичий гомон нарастает с каждой минутой. Давай, отец, окунемся в эту симфонию. Прислушайся... Каждый ведет свою партию неповторимой своей мелодии. Здесь нет первой скрипки, нет второстепенных инструментов. И никто не отсиживается на подпевках. В этом величии звуковой гаммы все солисты. Каждый исполнитель поет свою песню жизни своему слушателю. Никто в этом бесконечном оркестре не останется без внимания».

Последнее — из «Боли», воображаемого диалога с покойным отцом, которого никогда уже не будет с его фронтовыми и послевоенными порохами-гарями. А сынóвья память жжет, взыскует к осмыслениям.

Затрудняюсь вспомнить более пронзительное, непосредственное откровение, более искреннюю исповедь. В ней сострадание ко всему живому, драматизм, ностальгия по минувшему.

О коренных жителях территории автор глазами стороннего очевидца живописует так, что веришь безоглядно: это было на самом деле.

Есть еще над чем потрудиться автору, совершенствуя мастерство. Он в пути. Но все чаще просверкивает ликующий словесный янтарь, угадывается хватка прирожденного повествователя — от самого себя, от корневого, когда не можешь не писать.

Разнообразными оттенками восстают под пером Михайловского-беллетриста кусточки вуалевого багульника на мшагах, травы по залесьям и на луговинах, потаенных нетоптанных полянах, капли росы и дождя в сверке дня, на зорьках.

Еще очевидна у Валерия Михайловского гражданская позиция на многие несообразности в стране. А подлинный писатель невозможен без гражданской позиции, не бывает его такого в реальности. Например, не приемлет он тех, кто под флагом «реформ» и трибунных трюкачеств доразрушает, губит остаточное некогда великой державы, повергая общество в безысходность.

Об этом свидетельствует точный по смыслу раздел «Всяк забавляется как может».

Во всей книге чувствуется трепетная душа автора, в ясновидческом предначертании стремящаяся воссоединиться с Другом-читателем и, в слиянии обретя полнозвучие для многих, стать частью народного сознания.

Николай Смирнов,
член Союза писателей России
Нижевартовск

НАШЕ ВРЕМЯ



Рассказы. Повесть

Зимник

Буран навалился в пути. И прошло-то не более часа, но он полонил нас, и в этой неотвратимой реальности, казалось, не будет уже ни солнца ни света. Низкие, корявые сосенки на неоглядном болоте исчезли в белых вихрях пурги, и, отыскивая хантыйское стойбище, до боли всматривался я во мглу, боясь в снежной пелене не угадать натоптанный за зиму олений путь. Светало. Волком, упускающим добычу, взвыл буран, заглушая натруженно ревуший двигатель УАЗа.

Среди сугробов, на торосе дорожного отвала, поджав под себя ноги, сидел человек, а в том, как аккуратно были уложены на коленях его руки, чувствовалась безысходность и покорность пережившего не один буран.

Когда мы поравнялись, он пошевелился, повернул голову, роняя с капюшона лохмотья снега. По толстым очкам-линзам я узнал старого ханты-старожила. Вышел к нему, протянул руку.

— Здравствуй, Усть Иванович. Что в такую погоду?

— Траствуй, токтор. Человека жту.

— Случилось что?

— Ничего не случилось, — отвечал он коротко, с характерным для ханты «т» вместо «д».

Голос его дрогнул. Он суетливо протер очки, зачем-то вытащил трубку, убрал ее, втянув ее через рукав под малицу, вконец растерялся. Казалось, он извинялся за присутствие на зимнике в такую погоду.

— Не болеешь? — перевел я разговор на нейтральную тему.

— Так, ничего, только клаза шибко плохо витят. Вчерась клухаря стрелял, промазал. Шипко плохо клаза витят, шипко плохо, — закрихтел старик.

— Кузьма-то дома?

— Тома, тома. И Кусьма и Туся — все тома.

Километра два-три мы шли почти на ощупь. Оленью дорогу занесло, только кое-где видны углубления в снегу от следов старика. Ветер утих, тучи быстро прогнало на север, и выкатилось солнце. Яркий снег-переновок слепил глаза до боли. Мы с водителем Иваном, человеком надежным

и многоопытным, шли сосновым бором. Много дорог вместе исколесили. Вот и олени. При нашем приближении они встали, насторожились, но убежать не спешили.

Показались хантыйские избы, срубленные из нетолстой сосны. Небольшие и непохожие на крепкие русские пятистенки, по самые окна занесенные снегом, они немногим больше метра возвышались над сугробами. Плоские крыши, скошенные с обеих сторон, повторяли двускатную форму потолка. За избами виднелись лабазы, сделанные особым образом и служившие лесным жителям для хранения провизии, шкур.

Собаки, привязанные к вбитым кольям, не имели крыши над головой в виде собачьих будок. Они спали прямо на снегу в вырытых углублениях. Увидев нас, громко залаяли. Но в их лае не чувствовалось той оголтелой ярости и ненависти к человеку, как у дворняги, сидящей на цепи.

— Кучум, ты что, меня не узнал?

Большой черный с белым воротником пес, североευропейская лайка, сразу завилял хвостом, опустил, как будто застеснялся, голову и залаял с повизгиванием. Узнал, конечно, узнал, но свою работу сделать обязан. Подавать голос хозяину — его обязанность. И старый пес это усвоил еще с детства. В тайге, на охоте он — добытчик, дома — сторож. Недаром Кузьма так дорожит своей собакой.

— Сначала с собакой здороваешься, потом с хозяином? — Кузьма появился совсем незаметно на пороге избы.

Меня всегда поражало его внезапное, незаметное появление. Лесной житель, он умел ходить бесшумно, терпеть не мог, когда в избе дверь скрипит или половицы «поют». Никакой посторонний шум не должен глушить лесную тишину. Я часто замечал, как ходят иногда желваки на его скуластом лице, когда слышит он шум ревущих двигателей и лязг железа со стороны очередной нефтяной вышки.

— Я жду тебя. Слышу — уазик идет. Так что чай уже заварен. Заходите.

Поздоровались, посмотрели друг другу в глаза. Не виделись уже больше года. Не произошло ли каких изменений? Глаза вмиг расскажут больше длинного разговора.

— Там на зимнике Усть Иванович сидит. Кого-то ждет, что ли, в такую рань?

— Ждет! Каждое утро и вечер ждет, — как-то зло пробасил Кузьма. — Потом сам расскажет. Он тебя видеть хотел: болеет.

В избе никто уже не спал. Трехлетняя дочурка с красивым красным бантом бегала по избе и тискала кошку. Та слабо сопротивлялась, видимо понимая бесполезность своих усилий. Сын Павел приехал из школы-интерната на каникулы. Лицо его было серьезное и какое-то недоверчи-

вое: отпечаток интернатовской жизни вдали от родных. Из рассказов Кузьмы я потом узнал, как Паша тяжело расставался с родным домом. Словно птенца, пойманного в силки, увезли его осенью в первый класс школы-интерната.

В избе чисто, уютно, тепло. Дуся возле печки помешивала варево.

— Кузьма сказал, что доктор едет, вот я суп поставила: тебя ведь одной рыбкой не накормишь, — Дуся блеснула своими карими глазами, хихикнула. В избе витал нежный аромат косячиного супа.

— А у тебя, я смотрю, семейство уже сыто.

— Они давно уже встали: вчера Кузьма сказал, что ты приедешь — ждут. Мне с тобой поговорить нужно...

— Вы тут с доктором поговорите, а мы с Иваном дров привезем, — надевая шапку, кинул уже с порога Кузьма.

— В лесу живешь и дров не наготовил? — хотел подтрунить над Кузьмой.

— А зачем мне их загодя готовить? Я ведь в лесу живу, — хитро усмехнулся Кузьма и уже серьезно добавил: — Мне «Бураном» по снегу сподручней дрова возить.

Дуся проводила мужа мягким, теплым взглядом, прикрыла за ним плотнее дверь, а для порядка проворчала:

— Дети по полу ползают, не лето ведь.

Дуся, худенькая, невысокого роста женщина, ловко управляет с хозяйством, успевает и суп помешать, и рыбу почистить, и маленькой Галинке по-матерински шлепок отвесить за озорство. Любит ее Кузьма, и она ему отвечает взаимностью. Вместе с мужем ездит на рыбалку, сама может поймать оленей, снарядить упряжку, наколоть дров. Кисы сошьет и малицу спроворотит. За детьми следит строго и Кузьму, если надо, убережет от неверного шага, и он ей редко перечит. На вид хрупкая, она крепко держит хозяйство в руках. И все у нее ладно: и в избе чисто, и дети сыты и ухожены, и муж обласкан ее нежной заботой. Получили они с Кузьмой недавно трехкомнатную квартиру в Покачах. Поселок и называли Покачи потому, что построен на родовых угодьях его деда — Покачева Павла Ивановича. Места были ягодные, богатые боровой дичью. Ягель чистым светло-зеленым ковром устилал сосновые боры. Оленей помногу держали тогда ханты, населяющие пойму реки Вать-Еган и берега озера Имн-Лор. Покачевские угодья давали все необходимое лесным жителям, и они берегли свои сокровища. Рачительный хозяин лишнее из кладовой не возьмет. Инородным телом в глазу матери-природы сидит поселок. Не вяжутся, не гармонируют стекло и бетон с ягелем, молодыми соснами. И Кузьма со своей семьей не могут пока привыкнуть к ново-

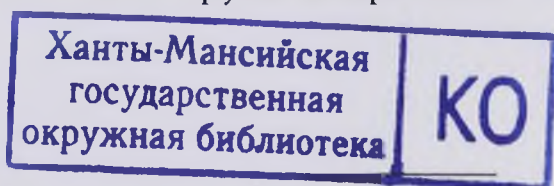
му жилищу. А с другой стороны — и школа, и детский сад. Все рядом. Паша во второй класс пойдет в школу, что напротив дома...

— Я теперь работать буду, — с какой-то гордостью и решительностью сказала Дуся, прервав поток моих мыслей. — В детский сад пойду няней. Боюсь: справлюсь ли? — И засмеялась. Смех ее был ответом на свой же вопрос.

— В интернат я больше не поеду! — пробасил сердито Паша в углу.

Дуся рассказывала о своем житье-бытье. Ее страшит предстоящая новая жизнь в поселке. Я слушал неторопливый рассказ Дуси, прерываемый то Галей, то Пашей, то разыгравшейся кошкой, но мысленно не мог освободиться от снежной фигуры Усть Ивановича. Что заставляет его ходить каждое утро и вечер на зимник? Кого ждет каждый день? Старый и больной житель леса мне сегодня показался совсем не таким, как я привык его видеть. Что-то его растревожило, раздавило. Всегда гордый и уверенный в себе старый воин, прошедший войну, показался мне сегодня беззащитным ребенком.

День пролетел в обычных хлопотах. Кузьма привез дрова, нашел оленей, проверили «мордушки», поставили две сетки под лед, поправили кораль для оленей, завезли две бочки бензина на весеннее стойбище: скоро перебираться на весновку и «Бураном» тяжелые грузы забросить



-075880-

сподручнее. К вечеру устали. Невольно понимаешь, что жить в тайге ее милостью и дарами — большой, тяжелый труд. Как говорится, не потопашь — не полопашь.

Вечером завели бензиновый генератор и пили чай при нормальном для горожанина свете. В углу беспрерывно вещал «Маяк». Пришел Усть Иванович в новой футболке с тигриной пастью во всю грудь, в меховых кисах. Он присел к столу, стал протирать очки-линзы, смешно щурясь. Пили чай. Разговор шел о рыбалке, охоте, об оленях, которым становится тесно в окружении дорог и нефтяных вышек. «Земли мало становится», — заключил Усть Иванович. Как точно и емко сказал! Ведь как назвать землей залитые нефтью болота, озера, исковерканные «гэтэтэшками» беломощные гривы. Это уже не земля — это месторождение. Одну тему все деликатно обходили.

Я осмотрел старого охотника, выслушал сердце, измерил артериальное давление и остался доволен осмотром: сердце работало ритмично, давление сто сорок на девяносто — для его возраста хорошее. Рубец от ранения в правое легкое смотрел вороньим глазом на правой лопатке. Но терпеливый охотник не стал жаловаться на одышку:

— В лесу востух чистый, тышать легко.

Плохо дело обстояло с глазами: веки воспалены, ярко выраженный сосудистый рисунок

на белочной оболочке. Явные признаки конъюнктивита, который может развиваться от холодного ветра, яркого весеннего солнца, кратно усиленного его очками-линзами. Старику нужен покой и лечение в домашних условиях. Особенно вреден яркий солнечный свет. Я достал из сумки глазные капли, мазь, рассказал, как пользоваться.

— Неделю нужно полежать дома, дать глазам отдых. На яркое солнце и холод выходить нельзя.

— Мне нельзя лежать, мне мушика встречать нато. Он мне приемник и пять бутылок вотки привезет.

И тут он рассказал странную историю, как он отдал три оленьи шкуры какому-то водителю «Татры», а тот пообещал привезти приемник и водку. Вот она причина ежедневных его дежурств. Старик знает график выезда машин из автобазы и время возвращения. И ежедневно утром и вечером выходит он на зимник в надежде, что его водитель остановится и отдаст обещанное. Пройдут восемнадцать машин, и он идет домой. И так каждый день: утром восемнадцать машин, вечером восемнадцать машин. И не хочет он верить в то, что его обманули, не может он этого понять, потому что он САМ договорился и ТОТ пообещал. Не может старый лесной житель поверить в обман. Не может

этого быть. С ним еще такого не было за всю его длинную жизнь.

— Усть Иванович, не нужно больше ходить на зимник, — сказал я старику, — обманул он тебя, пошутил он.

— Мушик не шутил, мушик серьезно сказал, — твердо и упрямо ответил он.

— Ты хоть запомнил мужика, машину, номер?

— Мушик с усами на красной «Татре».

Да, не густо: все они с усами, и «Татры» все красные. Старый охотник отвернулся.

— Мне его встретить нато. Вдруг он придет, а меня нет. Как он оттаст? А он потом мучиться путет. И после смерти его туша не путет снать покоя. По-нашему, кто толг не оттаст, шибко мучится путет на том свете.

Он отвернулся и замолчал.

Мы уезжали на следующий день вечером. Возле нашего уазика на высоком снежном сугробе сидел Усть Иванович, ждал возвращения машин из месторождения, где они вели отсыпку. Еще долго мы видели его в зеркале заднего вида, пока он не исчез за поворотом. Всю дорогу в глазах стояла фигура сидящего на сугробе старика.

Через несколько дней я заехал в автобазу, привез водку и новенький в упаковке радиоприемник, попросил одного усатого парня отвезти его тому старику. Его, оказывается, все водители знают. Водитель-должник уволился.



Осенью я приехал к Кузьме уже в новую квартиру. Дуся устроилась на работу, Паша ходил в школу и был очень доволен, что теперь ему не нужно уезжать от родителей в интернат. Галя пошла в тот же садик, где работала ее мама. Кузьма по-прежнему работал штатным рыбаком и дома бывал редко. Он рассказал, что Усть Иванович умер той весной, вскоре после закрытия зимника. Поручение мое уса́тый водитель выполнил, но Усть Иванович не притронулся к водке и приемник не распечатывал, а продолжал ходить на зимник по-прежнему каждый день. Уже в распутицу весенним днем он собрался на оленях, якобы, искать осину для обласа и не вернулся. Нашли его 9 мая. Олени паслись рядом, запряженные в упряжку. На нартах лежала привязанная бензопила и топор. Старый охотник сидел под огромной осиной, прислонившись к ней спиной, уронив голову на грудь, украшенную боевыми орденами, которые он надел впервые со дня Победы далекого 1945 года. Руки его аккуратно, ровно лежали на коленях.



Тишка

I

Солнце робко заглянуло в избушку, скользнуло первыми лучами по столу, а затем переместило свои нежные руки на лицо лежащего на оленьей шкуре мальчишки лет пяти-шести. Тишка сладко спал в обнимку с книжкой. Перед сном мама читала ему сказки. И сейчас его лицо трогала улыбка. Солнце грело его щеки и уши, нежными ладошками гладило взъерошенные волосы, словно тормошило его и настойчиво будило, звало на лужайку, на речку, где бродил он до самого вечера. Тишка открыл глаза, но тут же зажмурился и отвернулся. Он еще какое-то время лежал, не в состоянии отделить вчерашний вечер от ворвавшегося

утра. Вечером, укладываясь спать, он видел солнце в окошке за печкой, проснулся — оно уже в окне, что у двери. И так каждый день. Белые ночи... Лето...

— Вставай, Тиша, отец ждет на улице. Сегодня у тебя день рождения. Поздравляю! *Тумта-ка вула*. Здоровым живи. Расти большой! — мама поцеловала его. — *Пухие*, мальчоночек мой. — Она потрепала рукой волосы. — Сколько тебе лет? — спросила она.

— Пя-я-ять, — протянул сипло Тишка.

— Уже шесть. Ты уже большой, — мама сидела рядом и улыбалась. — Беги на улицу.

Спиридон перебирал сети для ловли рыбы и, увлеченный работой, не заметил сына. Тишка подошел и потрогал руку отца.

— С днем рождения, сын! — он высоко над собой поднял Тишку и закружил. — *Кушалана ат шавилайн*, пусть тебя охраняют хозяева твоей земли. Я подарю тебе облас. Ты уже большой и я хочу, чтобы ты был хорошим рыбаком и охотником. Пойдем.

За домом, где отец обычно запрещал играть детям, лежал накрытый брезентом настоящий облас.

— Это твой, специально для тебя сделал.

Тишка смотрел на новенький облас. Ему казалось, что он не настоящий. Светлые, гладкие его бока на солнце отливали необыкновенным

блеском. В глазах мальчика он казался сказочным. Не верилось, что этот чудо-облас теперь принадлежит ему. Так хотелось погладить его старательно отшлифованные округлые бока, хотелось прыгнуть в облас прямо сейчас, сию минуту. Тишка стоял, прижавшись к углу дома, и боялся, что, если закроет глаза — все исчезнет. Потом он посмотрел в улыбающееся лицо отца, подошел к обласу, сел на дно. Весло само взлетало над головой, загребало невидимую воду, он уже плыл по бесконечному озеру, солнце, отражаясь от водного зеркала, слепило его. Он снова посмотрел на отца, встал и прижался к наклонившейся шершавой щеке.

— Бери свой облас и пойдем на ручей.

Мальчик ухватился за деревянную перемычку обласа и, как делал его отец, потянул в сторону ручья. Соседская девчонка Аня стояла на пороге своего дома. Поравнявшись с ней, Тишка громко выпалил:

— А это мой облас. Мне папа на день рождения подарил.

Тишке хотелось, чтобы его сейчас видели все: и новые друзья из деревни, и дед и бабушка. Он уже большой. Облас легко скользил по мху, ягелю, словно не имел веса.

Сегодня, действительно, день для Тишки выдался необычным. Пока он учился плавать на обласе среди затопленных кустов в тихом омутке

разлившегося в начале лета ручья, приехала учительница младших классов из деревни. Тишка знал Светлану Антоновну, но, увидев ее дома, смутился, опустил глаза и спрятался за маму.

— Здравствуй, Тиша. С днем рождения. — Голос учительницы звучал мягко, ласково, и он, преодолев застенчивость, подошел к столу. — Ты читать умеешь? — спросила она.

— Нет. А зачем? — он уставился на учительницу, потом на маму.

— А буквы знаешь?

— Нет. А зачем?

— Вот так все время, — мама обращалась к Светлане Антоновне. — Ни в какую не хочет учить буквы. Заладит: «а зачем», и хоть ты тресни. Он ведь многие буквы знает, а спросишь — не отвечает.

Светлана Антоновна держала новенький букварь.

— Это тебе. Подарок на день рождения.

Букварь был красивый, новенький, не то что его старый, потрепанный, с оторванными страницами, приклеенными полосками цветной бумаги. Но особого волнения Тишка не испытал. Напротив, что-то нехорошее шевельнулось в груди. Он смотрел на букварь почти враждебно, ощущая тревогу. Облас, букварь. Облас, букварь. Букварь рос в его глазах, заполняя собой стол, избу и уже не видно за ним обласа, уменьшающегося

до игрушечных размеров. Он встряхнул головой, и цветная книга на столе приобрела обычные размеры.

— Поедешь к нам в деревню? К бабушке? Будешь ходить в подготовительную группу. Вместе с Васей Ильиным. Ты ведь знаешь его?

— Знаю, — Тишка повеселел. Он любил играть с Васей, когда бывал в гостях у деда с бабушкой. Но как же облас? Он снова опустил голову, потом повернул голову в сторону отца.

— На обласе ты еще успеешь поплавать. В деревню поедешь только осенью, — развеял сомнения отец. И лицо Тишки сразу посветлело. Он был согласен на всё.

II

Тишка был в детском садике только один раз, на Новый год. Глаза его тогда разбегались от ярких огней и нарядов. Он сначала испугался громогласного Деда Мороза с длиннющей бородой. Большой мешок за спиной огромного старика притягивал его взгляд и пугал своими размерами. Вспомнился Лесной старик, что живет в урмане за поворотом Большой реки. Отец иногда говорил: «Смотри, Тишка, в лес далеко не ходи. Лесной старик встретится, уведет далеко». Лесной старик лохматый, с бородой, но почему-то оде-

тый в красную длинную малицу, с огромным мешком, подходил к детям, и те его не боялись, наперебой рассказывали стихотворения, отгадывали загадки, громко смеялись, пели песенки. Тишка тоже дрожащим голосом скороговоркой протараторил припасенный стишок и уставился на Деда Мороза: не унес бы Тишку в далекий урман Лесной старик. Тревогу развеяла Снегурочка. Нежным, как у мамы, голосом она похвалила его и достала из большого мешка Урманного старика пушистого зайчишку с торчащим хвостиком и красочный мешочек со сладостями. Хлопушки, мигающие огни его не удивляли. На стойбище отец тоже наряжал елку со светящимися лампочками. А хлопушек накопили столько, что еще долго после праздника ребятишки пугали друг друга внезапными взрывами-хлопками.

К детскому саду Тишка привык быстро.

Каждый день в садик приходила Светлана Антоновна. Все дети ее знали и с удовольствием занимались на ее необычных для детского сада уроках.

— Сегодня мы повторим то, что учили вчера. — Светлана Антоновна открывала букварь, доставала вырезанные буквы, показывая то одну, то другую, и дети громко называли. Только Тишка сидел молча. Потом Светлана Антоновна задавала простенькие задачки. Дети снова наперебой отвечали, тянули руки. Занятия проходили

весело, но Тишке они не нравились совсем. Вот сказки он слушал с удовольствием. В такие минуты глаза его загорались, он будто сам жил в сказке. То он боялся, что Иванушка так и останется козленочком, то его сердечко сжималось, когда Богатырь вступал в бой с трехглавым Змеем Горынычем.

— Сказки любишь, Тиша? — спрашивала его Светлана Антоновна.

— Люблю.

— Так вот, учи буквы, и сам сможешь читать самые разные сказки.

— А зачем? Ты нам читаешь.

— Ну, дома будешь читать.

— Дома бабушка читает, — отвечает упрямо Тишка.

Учительница промолчит, или переведет разговор на другое:

— Тиша, сколько будет, если к двум кубикам прибавить еще два? — Она берет два кубика, ставит рядом еще два и накрывает их ладошкой.

— Не знаю.

— А ты подумай. Вот два красных и два синих. А вместе сколько будет?

— Зачем ты меня спрашиваешь? Ты сама знаешь.

Дети смеются. Для них, во-первых, непривычно, что к учительнице Тишка обращается на «ты», а во-вторых — все знают, что кубиков

четыре, и сдержаться уже нет сил. Тишка в такие минуты замыкается и, уставившись глазами в свои ботинки, молчит.

Тишке нравится возиться в мастерской деда, смотреть, как ловко в руках деда рубанок сотворяет изгибающуюся ароматную стружку.

— Нарты будут, внучек. На Новый год на стойбище в новой нарте поедем.

— На «Буране»?

— На «Буране», внучек, на «Буране», — дед тяжело вздыхает.

Прошло, пожалуй, безвозвратно то время, когда олений путь связывал зимой стойбища и селения. А сейчас режут на куски моторным ревом тишину в борах, поймах рек лихие наездники. Уже и дичь свыклась с зудящим ревом моторных лодок, бензопил, снегоходов. И лесные жители не спешат запрягать оленей: всегда под рукой быстроходная и неприхотливая машина.

— Подай мне, Тиша, четыре гвоздика в-о-о-он из того туеска, — дед показывает рубанком на берестяную коробочку и хитро улыбается.

Тишку радость распирает от того, что дед его в помощники берет. Быстро забирается на табуретку.

— Держи, дед.

Дед Тимофей поправляет седые жидковатые усы, свисающие острыми концами, берет гвозди из руки внука — четыре, как заказывал. Умеет

считать, но показать не хочет. Упрямец. Отец его такой же был маленьким. Дед посмотрел на внука, словно пытался разгадать его тайну, взял молоток и стал приколачивать упор на верстаке.

— Однако, четыре подал, как я сказывал. Значит, умеешь считать.

Тишка покраснел и опустил голову.

— Светлана Антоновна приходила, — дед посмотрел на внука, заметил, как вскинул тот голову при упоминании учительницы, насторожился. — Сказала, что рисунки твои на выставку взяли в город, хвалила тебя. На каникулы собираются детей в Екатеринбург везти. Тебя тоже приглашала. Поедешь? Елка там красивая, — дед бывал несколько раз в Екатеринбурге, когда служил в армии его сын Спиридон, отец Тишки.

— Поеду, — Тишка снова опустил голову.

III

Сутки в поезде, нарядная елка на площади в Екатеринбурге, огромные Дед Мороз и Снегурочка, множество огней, автомашин, толпы людей, непривычный шум — все это быстро утомило Тишку, и первую ночь он спал крепким, безмятежным сном. Ему даже ничего не снилось.

В музее он с удовольствием рассматривал чучела разных птиц и зверей, многих из которых

встречал в лесу. Потом долго рассматривал оружие под стеклом.

— У моего папки два ружья, — хвастается он своим товарищам. — Папка нынче пять глухарей стрелил.

— Ты же считать не умеешь, — подтрунивает Витька из третьего класса.

— Сам не умеешь, — и Тишка сразу замолкает, будто его кто холодной водой остудил.

В магазин «Детский мир» дети просились еще по дороге. Многие уже бывали в Екатеринбурге. Каждый имел карманные деньги, и хотелось из далекого города привезти какую-нибудь игрушку себе и в подарок своим братикам, сестричкам. В магазине ходили дружной стайкой. Светлана Антоновна то и дело пересчитывала своих подопечных. Тишка рассматривал игрушки, и ему в огромном магазине все нравилось. Он наблюдал, как Витька с Игорем подходили к прилавку, читали вслух: «пирамида» — столько-то рублей, «конструктор» — столько-то рублей.

— А как эта игрушка называется? — показывает Тишка на яркую мягкую игрушку.

— Сам читай! Скоро в первый класс, а он еще буквы не знает, — и Витька, ехидно хихикнув, двинулся дальше в обнимку со своим другом.

Тишка отвернулся и заплакал. Он почувствовал себя совершенно беспомощным. А так

хотелось узнать, что там написано на этих ярких бумажках. Он впервые пожалел, что не умеет читать. У него впервые прорезалось желание учить буквы и складывать их в слова. Он теперь знал, зачем ему это нужно.

— Тиша, что с тобой? — спросила ласково Светлана Антоновна.

— Я читать не умею, — и он заревел уже навзрыд, а Светлана Антоновна прижала его к себе. У нее тоже выступили слезы. Понял, понял...

Она помогла Тишке выбрать игрушку по его деньгам. Тишка держал только что купленную красочную машину и больше ничего не замечал вокруг.

IV

Автобус с визжащими от восторга детьми остановился у сельского клуба, где родители уже ждали своих чад. Тишку встречал дед Тимофей на стареньком снегоходе «Буран». К «Бурану» привязана новая нарта, накрытая оленьей шкурой. Как хорошо сидеть на новенькой нарте, как приятно ощущать свежий ветер, слышать глухое рычание мотора. Дед везет его по дальней улице: пусть все видят его новую нарту, и Тишка смотрит на мелькающие заборы, дома, деревья, и ему становится радостно: все вокруг знакомое, родное. Воздух чи-

стый, без примеси гари. Дышится легко и вольно. Вот и соседский пес Байкал, как обычно, пробежался с лаем за «Бураном». Тишка высунул язык, подразнил собаку. Дед поддал газу, и Байкал, быстро отстав, остановился, сел на снег и с недоумением посмотрел вслед удаляющемуся мальчугану.

— Бабушка, где моя книжка? — не успев переступить порог, выпалил раскрасневшийся Тишка.

— Какая? Иди я тебя обниму, *пухие*, мальчоночка, — она расцеловала внучка.

— Букварь, — Тишка уставился в пол.

Взяв из рук бабушки букварь, он уходит в свою комнату, садится у окна и начинает листать. Он остановился на букве «м», и его губы сами разжались «мы», потом пальчиком повел вниз и, словно нащупав то, что искал, отчетливо, по слогам прочитал: «ма-ма».

— Правильно, молодец! — бабушка притронулась к его плечу. — Скучаешь?

Тишка кивнул. Бабушка стояла за его спиной и улыбалась. Ей не верилось, что внук сам открыл букварь, сам прочитал слово. Она боялась его вспугнуть. Не заупрямился бы.

— Пойдем кушать, сыночек, я пирожков твоих любимых с брусникой испекла. А потом почитаем. Хочешь?

— Хочу! — Тишка взял букварь и пошел следом за бабушкой.

С этих пор Тишка не расстаётся со своим букварем. После садика ничего не дает по дому сделать. Какая это буква? Какая это?... Это прочитай, это покажи. Бежит, бывало, к деду в мастерскую.

— Деда, а это какая буква? — и тычет ему под нос книгу.

— Погоди, Тишка, сейчас, — дед не спеша откладывает стамеску, протирает чистым платочком очки. — Это буква «ш», — дед смешно шипит. — Видишь, шишка нарисована. А вот и слово шишка под картинкой.

— Шиш-ка, — повторяет Тишка и смеется. — Шиш-ка, Тиш-ка.

— Бабушка, а что здесь написано? — бежит он к бабушке, когда дед занят.

— Некогда мне: видишь руки в тесте. Горе с тобой — то за книжку не загонишь, а то... прямо спасу нет, — ворчит она для порядка.

Но не так-то легко отделаться от внука. И бабушка идет мыть руки, садится за стол и читает по слогам. Потом берет ручку и пишет слово на бумаге.

— Скоро и ты писать научишься. Открытку папе и маме напишешь.

— А я умею писать. — Тишка разворачивает лист бумаги. На листе большими буквами карандашом написано: «баба». Буквы прыгают, поползают друг на дружку. Последняя буква «А» завалилась набок.

Зима как-то быстро закончилась. Снег сполз с обочины раскисшей дороги и пригорков, болота стали пятнистыми, как линялая шкура оленя. По оврагам да вдоль шумящих ручьев еще жмутся в тень грязные сугробы. Река вздулась, темной лентой уходя за поворот. У берега мутноватым потоком спешит на простор вода поверх еще не оторвавшегося льда. Темный лед, расчерченный кривыми черными линиями-трещинами, вот-вот тронется. Тайга потемнела и черным зазубренным забором окаймила высокий противоположный берег до старицы. С наступлением сумерек нескончаемо тянут гуси неровными ключами. Редко просвистят первые утки. Тишка с дедом каждый день ходят на реку — ждут ледохода. Дед все гадает — большая ли вода будет.

— Шибко быстро растаял снег-то. Сойдет вода раньше сроку — не бывать большой воде, однако, — кряхтит он, почесывая затылок.

Назавтра дед имеет уже другое суждение:

— Хорошая, дружная весна. День-другой — и лед пойдет. А в болотах воды, однако, множество: в момент пойму зальет... большая вода будет.

— Я тебя, дед, не пойму: большая вода будет или нет?

— Не загадывай погоду-природу. Какая будет, той и радоваться будем, — бубнит недовольно дед.

— Так ты же сам гадаешь каждый день, — Тишка не может понять своего деда.

— Человеку всегда хочется знать, что за поворотом ждет его, — старик всматривается вдаль, словно в будущее хочет заглянуть. — Живи, внучек, так, чтобы не бояться завтрашнего дня.

— А это как?

— Дрова, сынок, сегодня положи у очага, чтобы стужи завтра не бояться. Человеку сегодня добро делай — завтра добром вернется. Сегодня не бери лишнего у природы — завтра сыт будешь.

Мудрено говорит дед Тимофей, но слова его глубоко в душу внука западают. Так и его, Тимофея, дед когда-то говорил. Так живут все его сородичи. Хочется деду, чтобы и Тишка вырос Человеком. Он треплет непослушные вихры внука, смотрит вдаль через узкий прищур глаз, вдыхает весенний воздух, и радость наполняет его сердце.

VI

Куропаткой порхнуло лето, короткое и радостное. Прокричало звонкой чайкой. Не успел Тишка оглянуться, а уже и собираться нужно снова в деревню. На душе и радостно — в школу с первого сентября, но с родителями расставаться не хочется. Загрустил, когда затаскивал облас под навес.

Здесь зимовать будет вместе с дедовым. Отцов облас лежит, перевернутый вверх дном, на берегу реки — сгодится еще.

— Не грусти, сын. Приезжай на каникулы, — впервые Спиридон подает сыну в лодку книги в ученическом ранце, — учись хорошо.

— *Тун юш*, хорошей, прямой дороги, — Спиридон обнял своего отца.

— *Ям вупса*, хорошей вам жизни, — ответил Тимофей.

Всю дорогу Тишка смотрит на нескончаемо меняющиеся берега, и такое же бесконечное и разноречивое чувство будоражит его крепнущую душу. Теперь школа его не пугала: он хорошо читал, считал до ста и больше. Наоборот, не терпелось увидеть друзей, не терпелось прочитывать что-нибудь Светлане Антоновне... Незаметно явь переходит в крепкий сон. Проснулся он от толчка причалившей к берегу лодки.

— Приехали, однако. Беги зови бабушку да коляску возьмите, вона сколько Спиридон всего натолкал, — дед Тимофей показывает на упакованные мешки с рыбой, ягодой, зимней одеждой...

Цветы, цветы, цветы... Громко звучит музыка. Много людей.... «Столько в деревне людей нет», — думает Тишка. Вокруг все празднично: девочки в белых фартучках, с разноцветными бантами. Мальчишки в наглаженных костюмах.

Учителя улыбаются, громко что-то кричат друг другу. Дед Тимофей, тоже одетый в наглаженный полосатый костюм, пахнувший комодом, держит Тишку за руку, словно боится потерять в толпе. Тишка плохо помнит, что было потом. Выступали учителя, какая-то старшеклассница, но все говорят громко, непонятно. И только в классе все стало на свои места. Двенадцать первоклашек расселись. Три парты остались на заднем ряду без учеников. Тишке понравилась парта во втором ряду у окна. Рядом сел Васька.

В школе у Тишки все получается легко. Задания делает быстро. Светлана Антоновна нарадоваться не может — лучший ученик в классе. Только пишет Тишка неряшливо. Не хватает терпения выводить буквы, спешит, и тогда буквы наползают друг на дружку, вылазят за пределы строчки.

Особенный день сегодня. Уже не раз до Тишкиного уха долетали таинственные слова: диктант, контрольная... Не только Светлана Антоновна, но и другие учителя сегодня по коридорам ходят серьезные, словно в каком-то ожидании.

— Сегодня мы будем писать первый в вашей жизни диктант, — Светлана Антоновна посмотрела на своих учеников.

Те слушают учительницу внимательно. Еще бы — первый раз диктант.

— Сначала я прочитаю весь рассказ «Боб», а вы внимательно слушайте. Потом я буду медленно диктовать, вы должны записать так, как услышите. Спешить не нужно, все успеем.

Тишка вспомнил, что читал и знает этот рассказ. Он достал книжку, быстро нашел нужную страничку и аккуратно стал переписывать. Светлана Антоновна читала медленно, по слогам. В конце учебного года хотелось, чтобы у детей были хорошие отметки. Тишка увлекся и уже не слышал голоса учительницы. Он пишет о том, как собака по кличке Боб вынесла из пожара маленькую девочку, потом куклу. Буквы ложатся ровно одна к одной. Тишке хочется написать без ошибок и красиво. Рассказ закончился, он поставил точку. Учительница продолжала диктовать. Раскрыв рот Тишка смотрит на учительницу, и сердце наполняется радостью. Написал!

— Тихон Лямзин, ты почему не пишешь? — строго спросила Светлана Антоновна.

— А я уже написал, — и Тишка широко улыбнулся. Его глаза залучились узкими черточками.

— Как это написал? — и тут она увидела учебник, раскрытый на той же странице, что и у нее.

Учебник предательски лежал на парте. Тишка и не думал прятать его. Она взяла тетрадку, прочитала весь рассказ. Отметила про себя, что

Тишка старался. Но диктантом предусматривалось написать только половину рассказа — весь был длинноват для первого раза.

— Завтра придешь вместе с дедушкой, а за диктант получишь двойку, — Светлана Антоновна отвернулась, чтобы Тишка не видел ее улыбки.

Домой Тишка шел, не замечая ничего. Ноги сами перебирали мелкими шагами и несли его по бесконечно длинной улице. К горлу подступил комок, слезы противно растекались по щекам. Он вытирал их руками. Почему ему поставили двойку? Он же первый написал диктант. Он так старался. Впереди задрожал дом деда, слеза покати-лась к подбородку, дом выровнялся. Выбежал соседский пес Байкал, замахал мохнатым хвостом, подпрыгнул и лизнул соленую щеку.



Любимое время года

Уазик лихо мчался по новой бетонке, дробно отсчитывая дорожные плиты. С горбатого моста через Аган открывался великолепный зимний пейзаж. Раннее утро. Справа над рекой выкатилось огромное красное солнце. Оно еще великодушно позволяло собою любоваться, не набрав пока той ослепительной яркости, когда его лучи выбивают слезы, отражаясь от искрящегося чистого снега. Тени от прямых, как зубцы гребешка, сосен ложились длинными розовыми полосами через бетонку. От пересечения этих ровных рядов возникало ощущение такой бешеной круговерти, что в глазах рябило и эта рябь вытесняла из сознания все без остатка — только солнце, снег и бесконечные тени...

Время не то останавливалось, не то разгонялось до невиданных скоростей; пространство то расширялось до бесконечности, то сжималось в точку. Чувства временами притуплялись, не позволяя воспринимать действительность, и тогда мелькание сливалось в непрерывность тени и света. Временами зрение обострялось, выхватывая на скорости каждую тень. Поворот налево — и пространство, освобожденное от соснового плена, заполнилось нежным весенним утром. Солнце становилось все ярче и ярче в зеркалах заднего вида, теряя свои четкие очертания.

Вскоре мы остановились перед новым чешским общежитием, какие в то время можно было встретить на многих месторождениях. На пороге появился Лукин в лохматых унтах, мой знакомый. Он вызвал меня по радиии, и, так как треск во время сеанса связи стоял невообразимый, я только и успел разобрать, что едем к хантам, к его больному другу, и нужно взять «трубочку слушать». Говорил он торопясь и не зря: связь внезапно оборвалась и наш связист, как ни старался, ничего сделать не смог. Я взял «трубочку слушать», собрал аптечку и — в путь.

И вот Лукин Олег Ильич стоял на пороге и, растопылив свои длинные руки, широко улыбался.

Я тут же попал в его крепкие объятия.

— А я уже стал сомневаться — приедешь ли? У нас рация накрылась. Скоро ханты подъедут. Они уже в поселке, продукты закупают.

В просторном холле стоял теннисный стол, и мы, не сговариваясь, взяли ракетки. Олег играл на том же любительском уровне, что и я. Игра шла ровно. В огромное окно центральная улица поселка видна как на ладони.

— Едут! — Олег поймал теннисный мячик и подошел к окну. Три олени упряжки, одна за другой, появлялись из-за поворота. Меня поразило это зрелище. Олени красиво бежали, поднимая высоко ноги, из ноздрей валил густой пар, воздушные нарты легко скользили, слегка покачиваясь. Я впервые видел олени упряжки наяву. Олени почему-то оказались меньше, чем я себе представлял. Только у двух оленей были красивые раскидистые рога. Один был с одним рогом, были безрогие. Три упряжки, по три оленя в каждой. Ханты привязали оленей прямо к крыльцу.

— Вот доктор, как обещал, — сказал Лукин, здороваясь с мужчиной, одетым в красивую малицу. Оленями управляла женщина, как оказалось, его жена.

— Николай, — подал руку он, не вставая с нарт. — Это жена моя — Аня.

На лице Николая появилась улыбка, обнажая желтые, нездоровые зубы. Улыбался он, превозмогая боль. Лицо его с желтизной, изрезанное

мелкими морщинами, выдавало человека, хоть молодого, но больного тяжелым недугом. Глаза смотрели мягко, с какой-то обреченностью и робкой надеждой. Он сидел на нартах, свесив ноги, упираясь руками в колени, и тяжело дышал, приподнимая плечи с каждым вдохом. Трубка, зажатая в зубах, дымила, распространяя запах дешевого табака. Он медленно, как делают обычно старики, покряхтивая, встал, стряхнул снег с оленьей шкуры, поправил ремень, нож в деревянных ножнах и так же медленно снова сел.

— Потрясло маленько, и живот разболелся, — сказал он тихо, как будто невзначай. И не было в его голосе ни жалобы, ни слезливости: не о его боли будто шла речь. Подошли товарищи Николая. Тоже в красивых, нарядных малицах.

— Егор.

— Михаил.

Оба невысокого роста, крепко сбитые, они замкнули круг. Аня подошла к оленям, поправила упряжь, погладила их, достала мешочек с сухарями и по очереди подошла к каждому, приговаривая что-то на хантыйском. Олени, громко похрустывая, вытягивали шеи, медленно жевали, заглядывали в глаза хозяйке в надежде получить добавку.

— Ну, чайку попьем и в путь, — Лукин положил руку на плечо Николая.

— Чайку, маленько, можно.

Чай, оказывается, уже заварен. На просторной кухне, меблированной чешской мебелью, что шла вместе с общежитием, расселись кружком.

— Продукты взяли: тушенку, сахар, чай, — Николай держал кружку в ладонях, словно боялся остудить чай, дул, прежде чем громко потянуть ароматный горячий напиток. Все он делал медленно. Даже кiset с табаком искал долго, как в замедленной съемке, так же не спеша набивал трубку. — Зима кончается, весна пришла. Люблю весну. Праздник у нас сегодня — Вороны день. Оленя колоть будем. — Николай сладко затаился. — Весна-а-а...

— Как праздник вороны? Чем же это заслужила ворона такую честь? — искренне удивился я. Мне и в голову не могло прийти такое — праздновать день вороны, этой воровки и хулиганки, прописанной в русских народных сказках отнюдь не светлыми красками.

— Она первая прилетает к нам. Первая дает знать — весна пришла. К человеку тянется. Всегда рядом с человеком живет.

Долго задерживаться не стали. Мы с Лукиным сели в первые нарты, водитель УАЗа Иван Васильевич во вторые, Николай с Анной замыкали колонну. Тихо шуршат полозья нарт. Олени несут быстро, мелькают низкорослые сосны, и скоро не стало видно поселка, не стало слышно

его шума. Егор негромко гыкает на оленей, изредка подгоняя их длинным шестом-хореем. Летят по обе стороны деревья назад, кажется, что кружат они вокруг снежным хороводом. Олени всхрапывают, бегут резво, весело, словно это доставляет им радость. Снежная пороша искрится на ярком солнце. Низкий сосняк сменился нарядным белым березняком, затем нарты пошли вверх и вынесли нас в красивый сосновый бор, снова большое болото с низкими соснами, снова бор. Скупая на краски зима показалась мне тогда не такой уж однообразной: белые, сливающиеся со снегом березы, стоящие вперемешку с кедрами и соснами, позолоченными утренним солнцем, заполняют пространство мазками самого даровитого художника — природы, радуя глаз меняющимися картинами. Иней, тронутый дуновением ветра, искрится на солнце золотистыми блестками и разноцветной радугой.

Круговерть прямых и стройных сосен вскоре вынесла нас на огромную елань. Избы появились внезапно, как из-под земли выросли.

Три семьи проживают в этом стойбище, которое расположилось в чистом сосновом бору, на берегу небольшой речки. Две маленькие избышки стоят рядом на краю гривы. За ними начинается крутой спуск к ручью. Стены избышек сложены из нетолстой, прямой как карандаш сосны. Брезентовый верх, местами прожженный

искрами, немного обвисший, придает им убогий вид. Наши упряжки уже под веселые голоса встречающих нас детей остановились посреди не селения, ближе к большой избе, срубленной недавно. Светлые бревна делают ее нарядной. Женщины, одетые в национальные одежды, расшитые бисером, выстроились перед нартami. Яркая одежда на фоне чистого белого снега выглядит торжественно. Ребятя с визгом скатываются с горки на деревянных санках — точной копии больших нарт. Мороз раскрасил их детские лица густой красной краской. Звонят в морозном воздухе их задорные голоса, создавая свой детский и звонкий мир в этом безмолвном и неподвижном параде седых сосен.

В маленькой избушке Николая тепло. Аня, пока мы стояли на улице, успела растопить печку, поставить чайник. Раскрасневшаяся буржуйка разливает тепло расточительно, щедро одаривая каждого частичкой своей жаркой души. Сквозь небольшое оконце свет врывается пыльным столбом, освещая стол. Пар от чайника тянется к окну и стекает по стеклу прозрачными каплями. Николай разделся, закурил.

— В прошлую зиму перед Новым годом, — начал негромко он, обращаясь ко мне, — поехали мы в поселок за продуктами. Сахар, чай завезли в магазин — ну и табаку, водки к празднику тоже надо. Выпили мы там маленько, а мороз

стоял... туман... — Николай улыбнулся, с трудом поднялся, взял спички, стал прикуривать потухшую трубку.

— С нами еще Мишка был. Мы на евошных оленях ездили, — подхватил быстрый на слово Егор, ставя ударение в слове «оленьях» на последнем слоге. — Обратно возвращались поздно, потемну. Домой приехали, смотрим: нет Николки. Потеряли, получается, по дороге. Мы обратно — искать. В поселок вернулись — нету, не нашли. Обратно — нету! Ну, ладно, думаем, завтра найдем...

— Ничего себе «завтра»! — не выдержал тут я. — Мороз за сорок. Нашли? — задал я глупый вопрос.

— Утром нашли — живо-о-ой! Хант не замерзнет, хант в снег зароется, в снегу тепло-о-о, — прищурившись, тянет Егор. — Малица греет, в малице мороз не страшен, — продолжал он и для наглядности встал, показывая малицу, сшитую из оленьей шкуры мехом внутрь. Рукава ее заканчивались меховыми рукавицами с прорезью на ладошке. Не нужны рукавицы — рука высовывается из разреза, а рукавица болтается на внешней части кисти. Капюшон из ондатрового меха оторочен росомашьим мехом: он не индевеет на морозе от дыхания. Сверху малица обшита светлой материей и украшена бисерной вышивкой. Это праздничная малица. Ее Егор надел в честь дня Вороны.

— Сначала не холодно было, — продолжал Николай, — уснул. А под утро, как протрезвел — замерз маленько.

Он сидел на полатах, снова набивал трубку и глухо покашливал. Кашель все усиливался и перешел в затяжной мучительный приступ. Николай согнулся, придерживая рукой живот. Боль исказила его лицо. Он отвернулся, тяжело дыша. Потом с полминуты посидел с опущенной головой, словно стеснялся своей невольной слабости, поднял уже спокойное лицо, смахнул слезу рукой. Рассказ его снова продолжался тихо и мерно, как журчание ручья, еле перебивая треск дров в печке и детские голоса, доносившиеся с улицы.

После того как Николай «маленько замерз», он тяжело заболел. Ранее дремавший туберкулез свалил его, приковал к больничной койке. В вертолете по дороге в больницу он бредил. Ему казалось, что он плывет под водой, лежа на дне облака. Вокруг шумит вода. Шум до боли давит на барабанные перепонки, перерастая в рев медведя. Сверху видятся круги, превращающиеся в водовороты. Его обласок крутит, то поднимая, то бросая в бездну подводными течениями. Воздуху не хватает, его обнимает холодным покрывалом волна, выносит на поверхность, он жадно делает глоток воздуха — и снова в пучину... Николай видит себя десятилетним мальчиком. Ему

вспомнилось то утро, когда на рыбалке перевернулся облас, запутался он в сетях и чудом подоспевший отец вытащил уже бездыханного сына на свет и воздух...

В больнице Николай очнулся только на следующий день. Врачи сутки боролись за его жизнь. Сутки не отходили от его койки медсестры.

— Глаза открываю, — рассказывает дальше Николай, — а вокруг все белое: потолок, стены, и женщина сидит рядом тоже вся в белом. Умер я, что ли? Ты, говорит женщина, всю ночь нам про страшных зверей рассказывал, песни пел то на хантыйском, то на русском. Что я мог петь на русском? Я же ни одной песни русской не знаю, — Николай улыбнулся, захлопал часто глазами, отвернулся к окну.

Набравшись сил, Николай через два месяца, так и не долечившись, сбежал домой. Его искали, дважды прилетал вертолет, но он скрывался, не хотел снова в больницу.

— Что, плохо было в больнице?

— Да нет, хорошо. И врачи хорошие, спасибо, вытащили с того света... Скучно стало. На весновку сбежал. Прошлой весной много рыбы было, ондатры пострелял, летом тоже рыбачил, а к осени снова плохо стало. Думал, отлежусь маленько, а оно все хуже и хуже. Вот смотри, какой худой стал, — он положил дымящую трубку на стол, вытянул тонкие руки вперед и снова закашлялся.

— Ты очень много куришь....

— Не могу не курить. Табак силу дает.

— Тебе лечиться нужно... в больнице. Лукин вертолет даст, я договорюсь о лечении.

— Сейчас нельзя. Вот отвеснуюсь... — Он на мгновение задумался. — Мне больница уже не поможет, — обреченно произнес он спокойным голосом, — не хочу в больнице умирать.

В избушку с шумом, впуская клубы холодного воздуха, ворвались дети Николая: девочка лет шести и мальчик трех-четырёх лет. Девочка быстрая и разбитная, как Анна, что-то громко на хантыйском языке объясняла матери. Та позвала малыша к себе.

— Напрудил полные штаны, — не то ругала сына, не то переводила сказанное дочерью Анна, — домой сразу бежать нужно. Не май месяц.

Она ловко сняла меховые кисы, которые сдернулись вместе с колготками. Потом с хрустом оторвала примерзшие к подошве кисов колготки. Ноги у малыша покраснели, как у гуся лапы. Анна взяла в свои ладони эти красные лапки, поднесла к губам, отогревая их своим горячим дыханием. Наблюдая эту идиллическую картину, я мысленно представил себе городского малыша, пробежавшего часок-другой в обледевшей обуви на морозе, и мамашу, обнаружившую такую оказию. А Анна спокойно отогрела

малышу ноги, вытерла блестящий ручеек под носом своего чада, переодела в сухую обувь и снова выпроводила на улицу.

Подъехали гости на двух оленьих упряжках. Одеты они тоже празднично. Дети гостей с ходу включились в игру, и уже не различить в куче, где дети гостей, а где хозяев. Оказалось, что ждали именно их.

Оленя закололи еще утром. За избой на снегу растянули шкуру. Жители стойбища и гости в праздничных одеждах стали полукругом. Нам тоже предложили присоединиться к обряду. Вышел вперед Михаил и на правах старшего что-то громко на хантыйском напевно сказал, обращаясь к своим сородичам. Затем все стали, пружинисто качаясь, поворачиваться во все стороны.

Поклоняются своим богам лесные жители, несмотря на то, что в каждой избе найдется иконка Божьей Матери, Николая-Чудотворца. Свои боги им роднее, ближе, они уже много столетий помогают им выжить в тяжелую годину. И сейчас они просят их защитить свою землю от разрушения, дать возможность им жить так, как жили их предки. Они просят наполнить их реки рыбой, боры дичью, просят, чтобы олени плодились, чтобы ягеля было достаточно. Николай тоже молится вместе со всеми, медленно поворачиваясь по сторонам. Непривычно видеть его без трубки во рту. Он мысленно просит своих богов

дать ему силы и терпения, здоровья и исцеления. Шамана нет. Обряд проходит скромно.

Теряется нить, соединяющая народ ханты со своим прошлым, теряются вековые традиции. Не так, видимо, раньше праздновали день Вороны, день Весны предки Николая, Михаила, Егора.

Я представил себе шаманов с бубнами, песни, пляски, молитву богам проникновенную и торжественную. Пружинисто раскачиваясь, я ушел своими мыслями в далекое прошлое, мое воображение несло меня в глубину веков. Я слышал гортанное пение шамана, бубен взлетал над его косматой головою, уводя его в дикую круговорот. Затем танец подхватывают мужчины, кружась вокруг костра, звучит мелодичная, протяжная песня, восхваляющая Землю, Небо, Богов. Гремит бубен, многоголосица наполняет бор, стелется по болотам и гривам, уходит в бездонное небо, возвращаясь лучами яркого солнца, играющего на разноцветных одеждах, и отражаясь от искрящегося снега, создается праздничное многоцветие.

В большой светлой избе Михаила на низком столе стоит казан с отваренным оленьим мясом.

— Садитесь сначала вы за стол, — обратился хозяин ко мне, Лукину и водителю Ивану Васильевичу, — а то мы будем кушать по-своему, —

и он показал рукой на большую миску с кровью, на сырое мясо.

Оленина оказалась очень вкусной. Отваренная большими кусками на костре, она распространила аппетитный аромат. За обедом завязалась беседа. Михаил сетовал на то, что дичи стало меньше, оленям негде пастись: дорога к кустам прошла через пастбище. Нефть попала в речку...

— А тут еще олени стали пропадать, — продолжал Михаил, — один пропал, потом другой. По насту трудно искать. Куда деваются олени — не знаем. Почти месяц искали.

Михаил рассказывал медленно, затягиваясь сигаретным дымом. Он сделал длинную паузу, словно переживая заново трудные многодневные поиски в тайге, по урманам и болотам.

— Нашли? — не выдержал я.

— Нашли, — он снова замолчал, — на буровую следы привели. Бульдозерист застрелил.

— Разговаривали с ним?

— Говорили.

— Ну и что?

— А... плохой человек был, — коротко закончил Михаил.

Он тяжело вздохнул. Ему до сих пор жалко оленей. Они уже почти перезимовали морозную зиму. Важенка должна была в мае родить олененка. Другой пропавший был хорошим ездовым оленем.

В избе стало тихо. Никто не ожидал такую короткую и несколько странную концовку рассказа. Все встали из-за стола, вышли молча на улицу. День уже перевалил за полдень, и заметно похолодало. Пора собираться домой. Мужчины собирались трапезничать «по-своему». Анна подогнала упряжку, чтобы отвезти нас в поселок.

По дороге все молчали. Рассказ показался нам диким и жестоким. Бульдозерист не вызывал симпатий, но....

* * *

Несколько лет спустя, на охоте, я спросил своего друга Кузьму:

— Ты знаешь Николая, Егора, Михаила, что живут за старыми Покачами?

— Как не знать? Николай родня мне, он тоже Покачев.

Кузьма рассказал мне, что Николай с Анной той весною перебрались на весеннюю стоянку, где Николай последний раз рыбачил. Анна по насту в конце апреля выследила и убила медведя. Поила мужа медвежьим жиром и желчью. Приезжал из Рускинских шаман, но ничего не помогло.

Умер он на майские праздники, в разгар весны, в его любимое время года, прямо в облаке, так и не успев оттолкнуться от берега.

— Знаешь ли ты историю с оленями, что пропали у Михаила?

— Я им искать помогал. Их бульдозерист застрелил.

— Так, что стало с этим бульдозеристом?

— А... Плохой человек был, — сухо сказал Кузьма.

— Я уже это слышал, — чуть не закричал на него я. — Они что, убили его?

— По-нашему — человека нельзя убивать: сам умрет когда-нибудь. Сказали ему, чтобы уезжал. Наша земля может отомстить ему. Она не любит жадных.

— Ну и?..

— Уехал.



Осень

I

Осень. На севере конец сентября — поздняя осень. Неделя-другая, и зима робко первым снегом начнет пробовать свои силы. Последнее теплое дыхание осени еще переборет его, соскребут последние теплые лучи легкую кружевную паутину — и все. Только свет останется от солнца. Скупой свет, которого хватит на короткий, как заячий хвост, день. Тепло кончится. До весны. Сегодня с самого утра идет беспрерывный, нудный дождь. Уже который день дождь начинается рано утром. Ночью он прекращает свое мокрое дело, уступая ночному холоду. Всеволод Сафронович уже не первый вечер замечал редкие кружащиеся

снежинки. Гуляя с собакой, он рассматривал их на фоне уличных фонарей. Ночными бабочками они летели на огонь, кружили, словно жались к свету и теплу. Касаясь влажной сырой земли, они исчезали тихо и незаметно. Летят и гаснут, летят и гаснут. Летят, летят первые снежинки. Витиеватый их полет хоть и тих и короток, но пророческим шепотом возвещает всем о приближающейся зиме. Ближе к ночи на небе появляются прорехи в ватном одеяле осенних облаков, и звезды редкими снопами яркого бисера показываются одиноким прохожим. Круговерть снежинок прекращается, чтобы утром снова сыпать мелким дождем.

Всеволоду Сафроновичу такая погода по душе. Она располагает к раздумьям, заставляет не торопясь заняться делами, которые обычно откладываются на потом. Старательно укладывая в чехол свое старое ружье, он поглаживает стволы, стирает ладонью несуществующую пыль. Еще раз напоследок глядит через зеркальные стволы в окно. Поймав крупную каплю на стекле в кружок, проводил ее до самого подоконника. Подготовка к охоте, казалось, занимала его не меньше, чем сама охота. Он стал замечать, что с годами научился получать удовольствие от чистки ружья. Раньше он этим занимался только потому, что нужно: ружье было старое, стволы нехромированные и требовали особого ухода. Иногда его это

раздражало. Сегодня же он миллиметр за миллиметром протирал сухой вехоткой стволы, механизм, курки. Холодный металл грел его душу. Он смотрел на свою старую двустволку, как на родное существо, как на что-то от себя неотъемлемое. Всеволод Сафронович застегнул молнию чехла, погладил его рукой и поставил в угол, взял телефон и набрал номер.

— Привет, Сережа. Я готовлюсь. Ружьишко сегодня начистил, блестит как медный самовар. Как ты думаешь, сколько патронов брать?

— Я думаю, стрелять много не будем.

— Ну, полсотни хватит? Я завтра патронами заниматься буду. Все идет по плану. Послезавтра — продукты... Значит, говоришь, полсотни?

— Хватит, я тоже много не беру. Учти, Сафроныч, там глухарь водится, так что единичку заряди.

Неделю назад ему позвонил друг Сергей, пригласил на охоту. Сначала, однако, Сафроныч отказывался: работа, жена собиралась на курорт и не с кем оставить собаку, намечается командировка...

— Сплошная, в общем, зависимость от обстоятельств, — услышал он в телефонную трубку, — у меня тоже не легче, тоже думаю, как выкроить эти две недели.

Сергей еще что-то говорил, потом резко закончил:

— Ну, смотри сам. Я тебе предложил. Не поедешь — я поеду один, а если есть предложения по срокам — позвони. Думай, Сафроныч, думай.

Думал Сафроныч всю ночь. Работа, жена, командировка, собаку некому выгулять. Все это не то. Отпуск возьму, когда захочу — своя рука владыка, командировку можно отложить, путевка у Людмилы только через месяц. Здоровьишко шалит. Сдрейфил старик. Плечо ноет уже месяц. Вот и сейчас невозможно найти ему место. И так ноет, и так... Сафроныч ворочался, укладывая правую руку. В темноте не видно, как боль искажает его лицо. Сергей помоложе, ему-то что... Вот в чем соль! Диабет, чтоб ему: то жрать нельзя, то нельзя, особая диета... Но хочется поехать. Может, не доведется больше в тайгу. Да и зовет его Сергей в свои места, где уже не был пятнадцать лет, о которых столько рассказывал интересного. Меня зовет. Значит, уверен во мне. Тряхнуть, что ли, стариной?

— Что с тобой? Тебе плохо? — спросила жена. Она заметила, что Всеволод Сафронович не спит, ворочается с боку на бок, уже дважды выходил на кухню.

— Мне хорошо, может лучше, чем обычно. Вот Сергей зовет на охоту. И не знаю что делать.

— Так езжай, — спокойно сказала Людмила, — развеешься.

— На две недели. Это триста километров отсюда. Добираться от Покачей на моторке полдня.

Как и любая женщина, Людмила плохо понимала, как можно две недели жить в тайге. Ее пугало расстояние. На моторке добираться... Тайга для нее населена страшными зверями, таит опасности на каждом шагу. Но она привыкла за долгие годы собирать мужа на охоту, ждать его, потом слушать его удивительные рассказы, из которых она единственно что понимала, так это то, что ему там нравится.

— Ну, решай сам, мне в Белокуриху через месяц, успеешь вернуться.

— Ты не представляешь, как мне хочется поехать. Может, это моя последняя охота здесь на севере.

— Тем более.

Подлубные собрались переезжать на «большую землю». Недавно вслед за отцом умерла старенькая мама Сафроныча, и они решили поселиться в родительском доме на родине. Дети уже взрослые, обосновались в Тюмени, а им хочется туда, где покоятся предки, где до сих пор слышатся детские голоса их сверстников.

Сафроныч в последнее время часто вспоминал свое послевоенное детство. По его земле война прокатилась тяжелым металлическим катком. Много железа осталось в земле. Еще долго после отсалютовавших победных залпов слышались

взрывы. В глазах ожила картина того страшного дня, когда ребята, его соседи, друзья, нашли немецкую мину. Двое погибли, один до сих пор на костылях. Он же единственный отделался «мелкими царапинами». Отлежался в военном госпитале месяц, вытащили осколок, зашили брюхо и будь здоров. Так и сказал военный хирург полковник Василенко: «Ну, будь здоров. Теперь ты знаешь, что к чему — стреляный». Скольким пацанам потом жизни спас. Если не хватало аргументов, задирает сорочку. Страшные швы через весь живот останавливали.

Сафроныч нащупал ногами тапочки, погладил рукой рубец на округлившемся животе, тяжело поднялся и пошел на кухню; расстегнул чехол, вытащил ружье, собрал отработанными до автоматизма движениями, погладил его и, вскинув, направил в окно. На мушку попалась заблудшая снежинка. Она, расплываясь, превращается в куропатку. И вот он стреляет, она медленно планирует вниз.... Боль в плече не беспокоит. Вот тебе и на! То шевельнуть больно, а то ружье держу на весу, и хоть бы что. Он снова собирает ружье, зачехляет и, улыбаясь, ковыляет в спальню. Теперь он засыпает быстро и спит до утра.

Позади длинные километры на машине, затем на большой, похожей на катер, моторной лодке до стойбища ханты.

— Кузьма Михайлович, это твоя дача, что ли, получается: живешь в городе, а сюда приезжаешь отдыхать, рыбачить? — спросил Сафроньч, радуясь, что наконец-то может размять затекшие ноги. Он впервые оказался на стойбище ханты, а ведь прожил на Севере без малого двадцать лет.

— По-вашему, вроде, дача, — отвечал Кузьма Михайлович, открывая домик. — Я здесь родился, здесь вырос, здесь умерли мои родители, мой дед. И сам я хочу здесь свой век дожить. Мне тесно в поселке, воздуху там не хватает... Так что сам посуди. Дача... Называй меня Кузьмой. По-нашему, не обязательно тревожить давно умерших родителей, поминая их имена попусту. Это на работе меня называют по отчеству: там так принято. А здесь они близко, когда нужно я сам их поминаю.

Игорек, младший сын Кузьмы, уже носился вдоль высокого берега, заполняя собой все пространство. Два часа в лодке без движения его утомили. Он даже вздремнул по дороге. Мальчик уже нашел маленького соседского щенка и таскал, схватив его за шиворот. Щенок молчал. Игорек

поставил щенка на землю, тот замахал хвостом и, отскочив на пару шагов, развернувшись, стал облаивать мальчика. Игорек с визгом и хохотом помчался вниз к речке, щенок за ним. Скудная жизнь щенка преобразилась с вторжением этого мальчугана и приобрела новые краски. Он лаял до хрипоты, Игорек визжал от восторга. Вот они уже кубарем катаются в песке. Теперь уже щенок треплет мальчика за шиворот, а тот свернулся калачиком, и его хохот летит по реке, отзываясь эхом от противоположного берега.

Сафроныч наблюдал за ними, улыбался, вытирая вспотевшую лысину. Мужчины втроем: Кузьма, Сафроныч и Сергей перетаскивали вещи из лодки в домик. Подъехал на другой лодке старший сын Кузьмы. Он только демобилизовался и наслаждался свободной жизнью. Павел привез бочку бензина. По дороге его застал дождь. Он, мокрый и озябший, бросив швартовочную веревку, быстро посеменял к избе. Кузьма ловко привязал лодку к трапу, по которому жители стойбища поднимались на крутой берег.

— Вам хорошо, здесь дождя нет, а там... — Павел на ходу махнул рукой назад.

— Завтра погода солнечная будет, — Сергей смотрел на посветлевшее небо на западе.

— Не говори так — испугаешь. Какая будет, такая и будет. Вот на этой лодке дальше поедете сами. Паша мотор сделал нормально — не под-

ведет. В этом году вода большая, так что по Елке подниметесь до самого места. — Кузьма деловито посмотрел на бочку, окинул взглядом крутой берег. — «Пьяным ванькой», однако, придется поднимать: так не вытащить.

— Чем поднимать? — Сафроныч подумал, что ослышался.

— «Пьяным ванькой», — повторил уже Сергей.

Кузьма с Сергеем выкопали на высоком берегу яму, поставили в нее вертикально специально приспособленное бревно — «ваньку». К вершине его петлей прикрепили веревку и двумя концами привязали к вбитым колам: веревки не должны дать «ваньке» упасть. Кузьма ловким движением накинул петлю на бочку с бензином. Один конец ее подтащил к «ваньке». Он в петлю на конце веревки вставил длинный шест и, двигаясь по кругу, стал наматывать веревку на толстое бревно. «Ванька», пошатываясь и поскрипывая, натягивал веревку, и вот уже поползла бочка вверх. Сафронычу и Сергею оставалось только поправлять бочку — не слетела бы петля.

Весь вечер Игорек не отходил от Сафроныча.

— Деда, а почему у тебя волосы белые вот тут? — он щипал деда за седую щетину, за баки.

— А почему у тебя тута волос нету? — и Игорек хлопал деда по красной лысине.

— Деда, а у тебя маленькие дети есть?

— Деда, а покажи ружье.

Сафроныч полулежал на оленьей шкуре. Его разморило тепло от печки, усталость разливалась приятной тяжестью. Он громко швыркал чай, отставляя горячую кружку подальше от непоседливого малыша, терпеливо отвечал на вопросы, рассказывал про своих внуков. Малыш не отходил от деда весь вечер. То он выбегал в коридор и приносил игрушки, сделанные руками отца: деревянные «Буран» и лодку. Заставлял деда загадывать загадки, сам загадывал деду, сам же отгадывал, громко хохоча. Потом Игорек приволок сказки и заставил его читать. Сафроныч раскрыл потрепанную книжку, надел очки и начал читать сначала выразительно, подражая разным голосам сказочных героев, потом голос его стал монотонным, а еще через какое-то время они в обнимку спали на оленьих шкурах и каждому снился свой сон.

Игорек летал вместе с богатырем через леса и реки, сражался с чудовищем, обнимал спасенную сестричку. То он уже рулит на своей огромной деревянной лодке, увозя сестру домой, к маме. На берегу его встречает щенок, но он почему-то больше его. Во сне он играет с ним, кувыркаясь в песке, тот лижет ему лицо огромным языком...

Сафроныча сон унес в его послевоенное детство, на зеленый луг, что сразу за родительским огородом. Разноцветная радуга огромным коро-

мыслом выгнулась над прудом. Он хочет добежать до радуги, схватить ее руками, а она словно играет с ним, то прячется, то удаляется, появляясь, все дальше и дальше. Рядом по зеленой траве босиком несется Игорек, громко хохочет, тоже тянет руки к радуге. Бесконечный зеленый луг, радуга и Игорек, вихрем уносящийся вперед, а он все отстает и отстает...

Дуся укрыла сына и Всеволода Сафроновича одним одеялом, поцеловала Игорька, пригладила вспотевшие волосы.

— Пусть спит с дедом. Своего-то нет.

— Слушает деда, уважает. Никого так не слушает, — тихо говорит Кузьма.

III

К утру в избе похолодало. Сергей проснулся, вышел на улицу. Под ногами хрустнула корочка льда. Небо вызвездилось. Избы, отбрасывая длинные тени от полной луны, стоят понуро. Вдоль реки до самого поворота тянется серебряная дорожка. Сосны в лунном безмолвии выстроились на задах, тихо дремая. Ни одна хвоинка не шевельнется на их посеребренных лапах. На востоке небо еле заметно посветлело. «Хорошо, — подумал Сергей, — вышла вся влага дождями, быть хорошей погоде». Он в сених взял несколько поленьев,

зашел в избу, затопил печку, поставил чайник и, пока разгорался огонь, мысленно пробежал предстоящий маршрут. Пятнадцать лет не бывал на Елке. Как там? Раньше богатые дичью были места. Глухари, косачи летали стаями, рябчики вдоль речушки высвистывали свои песни, выдры, ондатры резали водную гладь многочисленных стариц и омутов. Белку в этих местах ханты промышляли, ягоду бруснику по гривам собирали. Летние олени пастбища радовали глаз бесконечным беломошным ковром. Еще остался на болоте за озерами летний «олений дом»: убежище от комаров и гнуса; почерневший остов чума стоит, упираясь жердями в низкие облака. Здесь паслись олени деда Кузьмы, Павла Ивановича, нагуливали жир за короткое лето. Кузьма каждое лето жил в этом чуме с дедом, слушая его сказки и длинные как летний день песни.

Тихо поднялся Кузьма, сел на полати.

— Ты бы чаще приезжал, мы бы все в тепле спали. Что мерзнешь? — Кузьма всегда подтрунивал над другом, когда тот не выдерживал холода и растапливал печку. Сам он, наоборот, любил утреннюю прохладу — крепче спится.

— Не то чтобы мерзну, просто не спится. Думаю: дойдем на моторе до конца или нет? Да и как там?

— Дойдете, вода нынче большая. Андрей давеча поднимался по Елке до самого нефтепро-

вода. Только вот намаешься ты с дедом: с ним много не походишь.

— А я много бегать не собираюсь, старею тоже, — Сергей погладил живот.

— Да, с таким рюкзачком тяжело ходить. Пули взял? Там лохматый ходит. Он у Ленчика в июне два оленя задрал, так что если встретишь... он теперь нам враг. Сейчас он тихий: ягоду кушает и греется на солнышке целыми днями. Сам не нападет. Да ты и сам все знаешь, что я тебя учу. Деда с собой в ту сторону не бери, ему с хозяином встречаться ни к чему. Я его спрашивал, он на него ни разу не охотился.

— Что ж вы с Ленчиком не прикормили косолапого, не наказали за такие пакости?

— Прикармливали, лабаз сделали. Сколько дежурили — не приходит, а как день-другой не придем — он уж и побывал. Чует хитрый: старый, опытный. Человеческие хитрости научился разгадывать. У него на правой передней лапе пальца одного не хватает, ученый, видать. Это тот, что водителя гэтэ-тэшки поломал. Помнишь, я тебе рассказывал.

— Помню. Живой он хоть остался?

— Живой, только сильно покалеченный. Не работает сейчас.

Проснулась Дуся. Она принесла с улицы крупную щуку (Кузьма вчера успел проверить сетки), разделала ее, ловко орудуя своим ножом, специально сделанным Кузьмой. Она не чистила

чешую принятым способом, а подрезала ее острым ножом, после чего щука стала необычно белой. Голову, хвост щуки и окуней сложила в кастрюлю, поставила на печку и стала чистить картошку для ухи. Все она делала не спеша, тихо. Скоро и на столе воцарился порядок после вчерашнего позднего ужина. Все получалось у нее споро и как-то незаметно. Сергей только потом замечал, что на столе уже чисто, уха кипит, падаушка румянится у раскрасневшейся печки, чайники поют. Никакой суеты, никаких лишних слов.

— Чай вырра,— тихо сказала Дуся Кузьме по-хантыйски.

Тот неспешно поднялся, взял с полки заварку, всыпал в маленький чайник, отставил в сторону. Начинался новый день.

Сафронычу надоело лежать. Он чувствовал себя отдохнувшим. Это было то редкое теперь утро, когда ничего особо не беспокоило. Так, немного ноет плечо, но ведь вчера поработал.

— Как спалось, деда? — спросил, улыбаясь, Сергей.

— Как дома побывал. Как там погода? Кто-то солнышко обещал, — Сафроныч посмотрел на Сергея.

— Обещал — будет.

— Заморозок сегодня, так что погода хорошая и сегодня и завтра будет, вам повезло, — подхватил Кузьма.

На пороге Сафроныч поскользнулся, чуть не потерял равновесие, но удержался, прислонившись к открытой двери. Еще вечером моросил дождик, капало с крыши, а сейчас мокрый порог обледенел, выдыхаемый воздух клубился густым паром. Выкатывалось оранжевое солнце, быстро вытесняя сумерки и заполняя все пространство золотом света. Где-то издалека доносился разноголосый перелив гусяного крика. Высоко в синеве утреннего неба тянулись неровными клиньями ключи на юг. Гуси перестраивались на ходу: из двух ключей образовались три, затем третий ключ снова начал вытягиваться в одну линию, образовав длинное плечо заднего клина. Неопытная еще молодежь ломала ровные линии. Вот парадругая резко провалилась вниз, за ними тут же спланировали опытные, сильные птицы, помогли подняться, выстроиться в ряд. Сафроныч даже различал крики о помощи, затем тревожные трубные голоса кинувшихся на подмогу. Потом прозвучала команда, и вожака сменил другой прокладывать путь, прорезая плотный воздух крепкой грудью. Сколько раз сменятся они за длинную дорогу, сколько раз замыкающие поднимут ослабевших птиц, поддержат в пути. «Пока летают гуси-лебеди, человеку есть у кого поучиться добру, заботе, нежности и любви», — подумал старый охотник. Гуси уже пролетели над стойбищем, и Сафроныч, провожая их взглядом, поймал себя

на мысли, что даже не вспомнил про ружье. Глаза стали влажными то ли от напряжения, то ли от переполнявших его чувств.

Утренние сборы были недолгими: все уже приготовлено с вечера. Осталось только перенести упакованные мешки в лодку, завести мотор и, как говорится, «помахать ручкой».

Кузьма, наблюдая, как побряхтывает дед, подошел к Сергею:

— Намаешься ты с дедом — старый.

— Не беспокойся, все будет хорошо, не такой он и старый. Вот будет тебе шестьдесят, тогда узнаешь, что не все еще потеряно.

— На озера пойдешь к Ленчику, его с собой не бери, — снова напомнил Кузьма, — шибко далеко, умаешь деда.

IV

Мотор, действительно, работал ровно и надежно, лодка бежала резво, оставляя за собой вздыбленную струю. Берега летели назад, и волна, поднимаемая мотором, облизывала песчаные отмели с одной стороны, упруго ударяла в отвесный обрыв противоположного берега. Гривы сменялись болотами, мелькали старицы то с одной, то с другой стороны. Поднимались вспугнутые утки и, стремительно набирая высоту, скрывались за вершинами безмолвных стройных сосен.

— Далеко еще? — перекрикивая мотор, спрашивал нетерпеливо Сафроныч.

— Два поворота до устья Елки, а там как получится, — Сергей перенял привычку у Кузьмы измерять расстояния по реке «поворотами».

Сафроныч не успел заметить, когда свернули в узкую речушку. Это случилось внезапно: берега просто сомкнулись, и река стала узкой и извилистой. Сначала он раскрыл рот от восторга, еле успевая прятать голову от нависших деревьев. Речка чуть шире лодки изгибалась серпантинном, прорезая болота и гривы. Виртуозно управляя мотором, Сергей закладывал очередной вираж. Лодка резко накренилась то в одну, то в другую сторону. Перед глазами мельтешило. Старый охотник вертел головой до хруста в шее. Ничего подобного он еще не видел. Теперь он ловил себя на том, что уже думает об обратной дороге, как о чем-то несбыточном. Мельком ему удавалось взглянуть в напряженное лицо Сергея, но заговорить с ним не было никакой возможности. Оставалось полагаться на волю случая. Судьба на этот раз была к охотникам благосклонна. Добрались до места почти без остановок. Только два раза пришлось расчищать завалы ножовкой и топором. Вытаскивая бревна на берег, Сафроныч в эти минуты, казалось, отдыхал и с тяжелым сердцем снова садился в лодку.

Палатку установили в красивом сосновом бору в месте, защищенном высокой гривой с севера.

— В это время преобладают северные ветра, — пояснил Сергей.

— Я на тебя надеюсь, у тебя опыт больше, — старый охотник остался доволен выбором Сергея: позади палатки высокая грива, справа начинался позолоченный березнячок, спереди речка, а слева красивый ковер светло-зеленого ягеля.

— Этот клочок ягеля я объявляю заповедной зоной. Хождение через эту поляну запрещено, — торжественным тоном изрек Сафроныч, очерчивая круг рукой.

— Предложение принято, — в тон ему отвечал Сергей.

Разбив лагерь, поставили сетку в живописной старице, прошлись по песку вдоль нефтепровода.

— Смотри, Сева, следы глухаря.

— Вижу, вижу, — сердце Сафроныча забилося от волнения. На глухарей не охотился уже добрый десяток лет.

— Рядом с палаткой. Вот тебе по утрам место для дежурства. А я завтра пойду в ту сторону, — Сергей махнул на север. — Там озеро огромное есть, хочу гусей посмотреть. До озера далеко, тебе тяжело будет идти. Только ты не оби-

жайся, — добавил Сергей, перехватив укоризненный взгляд друга.

— Я и не обижаюсь. Я ведь не спал утром и слышал, что сказал Кузьма. Я все понимаю. Самое обидное в этом то, что он прав. А что это за история с медведем, что поломал какого-то водителя?

— Это было несколько лет назад, когда строили нефтепровод, когда нефтяники бесконтрольно охотились, выбивая все живое. Вахтовикам жалеть местную природу ни к чему: они и их дети живут за тысячи верст отсюда.

Друзья шли медленным шагом, и Сергей рассказал Сафронычу историю, которая запомнилась ему своей логичностью и невероятностью.

— Особенно отличались водители вездеходов. Техника под рукой. Круглые сутки в их распоряжении. Не один раз Кузьма встречал их в тайге, выписывающих по ягельникам на газушках. По полсотни глухарей, косачей набивали они за один выезд. Птица технику не боится, особенно весной и осенью. Подъезжай и бей: просто... много ума не надо. На замечания они в лучшем случае отшучивались: мол, птицы много, всем хватит.

— Все кончается, все имеет конец, — говорил им Кузьма, — природа вам отомстит. Наши боги не любят жадных.

— Ты что, пугаешь нас? — спрашивал водитель газушки.

— Нет, зачем пугать, сам посмотришь, Бог есть, — коротко отвечал Кузьма.

Настреляют они птицы, приедут в свои вагончики, приготовят пару глухарей, закусят. Еще пару-другую на водку сменяют. А остальные куда девать? Выбрасывают на помойку рядом с туалетом. Потом снова стреляют. Ну и привлекли они внимание мишки протухшей птицей. По весне медведь ищет, где бы полакомиться чем-нибудь. Бывает, оленя-другого завалит, а тут... Несколько дней ходил медведь вокруг вагончиков, боясь приблизиться. Отпугивают запахи солярки, дыма, но голод не тетка. Потрошит он как-то птицу, а в это время тот водитель по нужде пошел и попал прямо в лапы мишке.

— Вот и думай, — говорил Кузьма, — наказал за жадность.

Сергей замолчал, посмотрел на север, куда собирался завтра.

— И это тот медведь, что задрал нынче оленей у Ленчика?

— Так ты и это слышал?

— Ну, не глухой же я, говорю, что не спал.

— Да, это он. Кузьма его отличает по следу: у него одного пальца не хватает на правой передней лапе. Он и раньше пакостил: у Димки прошлым летом пятерых оленей задрал.

— Ты там смотри — поосторожнее.

Наутро Сергей ушел рано. Сафроныч не спеша пил чай и смотрел на заповедный клочок ягеля. Ствол давно упавшей сосны порос ярко-зеленым мхом и брусничником, разделяя поляну на две равные части. Брусника, налившаяся за короткое и скупое на солнце северное лето, склонила свои рубиновые гроздья. Старому охотнику захотелось подойти и сорвать ягоды, но он вспомнил о запрете, им же наложенном, и улыбнулся. По-стариковски покряхтивая, он медленно встал, закинул на плечо ружье. Через неширокую речушку перешел по огромному стволу старого кедра, балансируя ружьем. Поднимаясь на высокий берег, он внезапно увидел глухаря, вышагивающего по белесому песку. Старый охотник прижался к земле и замер. Приподнявшись над травой, он долго наблюдал, как огромная птица, высматривая камешки, смешно, по куриному вертела головой. Время от времени, вытягивая шею, глухарь проглатывал очередной камешек, подставляя свою бороду легкому ветерку, и настороженно оглядывался по сторонам. Вороное перо на крутой груди и шее отливало зеленью в косых лучах восходящего солнца.

«Старый глухарь, — подумал охотник, — встретились два старика. Встретились две осени».

Вдруг глухарь остановился и повернул в сторону охотника бородатую голову. Показалось, что он заметил его. Сафронычу даже почудилось, что они встретились глазами и смотрят друг на друга. Глухарь настороженно вытянулся, быстро разбежался и мощными взмахами могучих крыльев разрезал осенний воздух. Его полет над речкой до самого поворота провожал взглядом Сафроныч, любясь его силой и стремительностью. Только теперь он вспомнил про свою двустволку. Он не жалел, что не стрелял. Напротив, в груди потеплело, глаза заволокла слеза, резкости не стало, и Сафроныч потерял глухаря из виду. Только на высоком берегу старый охотник начал различать окружающее. Он сел на поваленное дерево, протер глаза и огляделся вокруг. Ярко-желтые березки, вбирая утреннее солнце, отражались в ровной глади спокойной заводи. Запутавшаяся в выставленной вчера сети щука, распространяя круги, морщила отражение. Очень высоко над головой огромными ключами тянули гуси в сторону полуденного солнца. Вот он, тот душевный покой, вот то равновесие, те минуты блаженства и тихой радости, что приходят в последнее время так редко. Сафроныч притащил несколько сухих хлыстов, постелил на них плащ, удобно улегся и тут же уснул. Сон его был спокоен и легок. Ему ничего не снилось, он словно провалился в бездну, в небытие.

Сергей вернулся поздно. Видно, что ходил много: вспотевший, с осунувшимся лицом, он жадно пил чай, ел приготовленную другом пада-ушку и рассказывал о своих впечатлениях.

— Хотел на озера пройти. Там гусь по осени останавливается, но сил не хватило. По весне туда ходил, но то по насту, а теперь... Ноги по колени тонут. След мишки нашел. Тот самый. Старый след, нет его здесь. Он уже ближе к своей берлоге держится на высоких местах. Глухаря вспугнул... А у тебя как? Видел что-нибудь?

— Гуси высоко пролетали, сети проверил: три щуки поймались, — Всеволод Сафронович зачем-то стал шевелить головешки в костре. Ему сейчас не хотелось говорить об утренней встрече. Костер сначала сыпанул искрами в темнеющее небо, затем вспыхнул с новой силой. Друзья смотрели на огонь молча. Короткий осенний день заканчивался, в темном небе с севера беспрерывно наплывали низкие тучи.

VII

Утренняя прохлада выгнала охотников из спальных мешков. Развели огонь приготовленным про запас смолем и, пританцовывая, грелись, вытягивая руки к костру. Костер разгорался нехотя, дым крутило и невозможно было найти

удобного места. Чайник скрипуче попискивал, указывая на изменение погоды. За ночь ягель присыпало снежком. Все вокруг преобразилось: ивняк контрастно выделялся на темном фоне противоположного берега заиндевевыми ветками, тонкие плети берез согнулись под тяжестью снега, налипшего на желтых листьях, зеленый мох поседел. Даже гроздья брусники прикрылись белым пухом.

Сафроныч, проводив друга взглядом вдоль золотистого березняка, налил в кружку чаю. Он верил в приметы и делал все, как вчера утром. Полюбовался «заповедником», прибрался на импровизированном столе, вымыл кружки, покряхтивая, встал, забросил ружье на левое плечо, как вчера. Через реку перебирался осторожно, скользя сапогами по заиндевевому стволу, балансируя ружьем. Так же неожиданно, как и вчера, появился глухарь. Он топтался на том же месте, высматривая блестящие камешки. Снег на песке лежал пятнами, и старый охотник наблюдал, как эта важная птица, бегом пробежав по снегу, останавливалась на песке и внимательно шаг за шагом всматривалась себе под ноги, затем снова бегом через снег. Глухарь ходил то кругами, то уходил вверх по прямой, затем снова возвращался. На облюбованное место — небольшой бугорок над речкой — он возвращался уже третий раз. Ружье лежало на коленях. Сафроныч привычно левой

рукой смахнул песок с планки прицела, но вскидывать ружье не спешил. Его пленило умиротворение, сердце работало ритмично и спокойно, как на диване у телевизора; им не овладел тот азарт, что заставляет охотника бежать без устали по следу, стрелять влет, или по бегущему зверю, когда силы удваиваются, когда ничего не замечается вокруг — только цель. Старый глухарь, вдоволь набегавшись, спокойно и важно вышагивая, направился в сосновый бор и больше на пески не вышел. Сафроныч внутренне обрадовался этому обстоятельству, встал и побрел вдоль реки.

За поворотом берег становился ниже, и густые заросли черемухи давали надежду на то, что здесь водятся рябчики. На манок тут же ответили сразу две птицы, тщательно выводя коленца своей песни. Едва ступив в заросли, старый охотник вспугнул доверчивых рябков. Рябчики вспорхнули и, едва поднявшись в рост человека, уселись на изогнутую луком черемушную стволину. Два серых комочка, две беззащитные души. Казалось, их мало волновало присутствие человека. Замерло сердце охотника. Он остановился, прислонился к сухарю. Слившись воедино с древним замшелым стволом, почувствовал, как потеплело в груди. До его обостренного слуха донеслось легкое шуршание: самец пробежал по мерзлой стволине, мелко перебирая лапками. Он поворачивал чубатую голову в сторону своей подружки,

приглашая полакомиться черной черемухой, что нависала неполными гроздьями. Сафроныч смотрел спокойно, едва улыбаясь той, как он считал, глуповатой улыбкой, что иногда ложилась на его уста в минуты умиления. Правая рука самопроизвольно гладила стволы старой двустволки. Петушок потоптался на месте, теряя терпение, вытянул шею и затянул свою песню — тонкую и тягучую. Где-то в стороне ему ответила курочка. Подружка, почуяв неладное, тут же поспешила принять приглашение кавалера: короткий перелет — и она уже рядом.

— Так-то вот лучше, испугалась соперницы? — Сафроныч оттолкнулся от лесины и побрел в сторону палатки.

Сегодня Сергей вернулся еще позже: уже потемну, принес косача.

— Утром в твою сторону вместе пойдем. На старицу. Там утки должны быть, — сказал Сергей.

Сафроныч заволновался. Он по-прежнему ничего не говорил про свои утренние встречи. Завтра все решится.

Ночью сон не шел. Глаза таращились в пустоту. Темнота была осязаемой, имела густоту, и Сафронычу казалось, протяни он руку — сможет ее сжать в кулак, разогнать одним взмахом. Глаза, что открытые, что закрытые, вязли в этой тягучей темноте осенней прохладной ночи. Буд-

то огромная птица накрыла черными крыльями все вокруг и свет исчез навсегда. Воздуху не хватало. Сафроныч на ощупь достал из кармана рюкзака валидол....

Старый охотник проснулся рано, до рассвета. Тихонько выполз из палатки, быстро развел костер, вскипятит чай. Пил долго, непрерывно смотрел на огонь и, казалось, ни о чем не думал. Потом резко встал, бросил на левое плечо ружье и быстрым шагом направился к берегу. Через речку перешел ровным шагом, ни разу не пошатнувшись. Глухаря еще не было. Сафроныч удобно устроился в своем скрадке и стал ждать. Он ни на минуту не сомневался, что глухарь появится. Напряженно всматриваясь в сереющие вершины сосен и кедров, он ждал. Любой звук вызывал сердцебиение. Ружье лежало в сильных руках как литое, как продолжение самого охотника, как единое с ним целое. Серое небо, серый песок, серая вода в реке. Нет красок, нет звуков. Тишина. О такой тишине говорят — гробовая. Что за глухие удары? Бух, бух, бух! Сафроныч потер виски руками, потом лицо, оно обдало жаром прохладные ладони. Еще секунду назад на сосне никого не было. Силуэт глухаря ясно вырисовывался на самом высоком дереве. Глухарь, наклоняя голову, щипал хвою. Далеко. Ждать. Ждать Сафроныч умел. Сколько раз он сидел часами в скрадках на утку, гуся, да и на глухаря.

Он знал его повадки, знал, что тот поклюет хвой и обязательно сядет на песок. Словно гипнотизируя птицу, охотник не сводил с нее глаз. Вот она, расправив крылья, планирует вниз. Глухарь приземлился на свой любимый песчаный холмик и огляделся по сторонам. Он заметил своего старого знакомого, он глянул своим острым глазом в черную бездну стволов, затем черные провалы сместились в сторону и из них в то же мгновение вырвался ярко-красный сноп огня. Крылья мгновенно сами обняли воздух, крепкие ноги оттолкнули твердь земли. Внизу потянулась синяя лента знакомого до каждой заводинки ручья.

Необычно громкий выстрел оглушил Сафроныча. Вода в тихом омуте взбрыкнулась кучным снопом. Круги быстро поглотились еле заметным водоворотом. Далеко за поворотом, поднимаясь выше кедров, стремительно набирал скорость глухарь. Сердце колотило своими тугими мышечными стенками по реберной решетке, которая уже шестьдесят лет держала его в своем плену. Звуки его биения торопливым бубном разносились по сосновому бору, доходили до стены темного кедрача на том берегу; эхо разносилось по речке, отражаясь мелкой зыбью от стоячей воды темного омута. Запах тайги, речки, серого неба сгустился, сконцентрировался в одну неприятную болотную вонь.

Сафроныч лежал на влажном песке, прижавшись небритым лицом к сырой кочке. Перед самым носом росла осока. Шурша своими жесткими листьями, она цеплялась мельчайшими щетинками за нос, щеку, подбородок. Шевелиться не хотелось. В ушах еще звенел выстрел. Он повернулся на спину и долго смотрел на появляющиеся прорехи в сером небе. С востока наплывала чистая голубизна, редко помеченная белыми быстро плывущими облаками. Переменчивая осень меняла серое покрывало на яркий пятнистый наряд. Словно радуясь таким переменам, враз взорвалось птичье многоголосье.

— Ты стрелял или мне приснилось? — Сергей еще не выходил из палатки.

— Стрелял. Глухаря стрелял... промазал, — в голосе друга не чувствовалось досады.

— Что так весело?

— Потому, что действительно хорошо, черт возьми! — И он рассказал Сергею про свои утренние встречи и как отвел стволы в последний момент.

Сергей смотрел на своего друга, увлеченно размахивавшего руками, видел его радостное лицо, повлажневшие глаза и улыбался.

— Я ведь вчера тоже копалуху встретил — не стал стрелять. Лезет, дура, прямо на стволы. Дважды ее встречал. Тебе стеснялся рассказать.

Шестидесятилетний юбилей Всеволода Сафроновича праздновали в ноябре. Собралось много народу, и юбиляр захлеб рассказывал о недавней охоте, показывал снимки, восторженно живописал красоты тамошних мест, рассказывал о необыкновенно вкусном чае, заправленном ветками местной смородины, о заповедном уголке у палатки. Гордился, что выдержал испытания холодом, вынес немалые нагрузки. Гости слушали его рассказ, переспрашивали названия рек, уточняли, как готовится падаушка. Юбиляр был, как говорится, на коне. Женщины тепло смотрели на Людмилу. Мужчины, естественно, по-доброму завидовали имениннику. Еще бы!

На стене висело ружье, обклеенное прямо по обоям фотографиями недавней охоты. Сафроныч тыкал пальцем в осенние пейзажи, щурил добрые глаза, по-детски улыбаясь во все свое круглое лицо. Сергей смотрел на расчехленное ружье, на счастливые глаза своего друга и все понимал. Он хорошо знал его.

— Ружье почему не в сейфе? Нарушаем? — игриво спросил он, улучив момент.

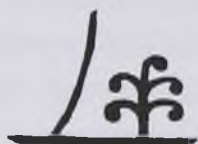
— Это уже не ружье — исторический экспонат. Я бойки вытащил. Всё! Оно свое отстреляло.

— Самый удачный выстрел был последним?

— Да!

— За твою золотую юбилейную осень!

Веселый хрустальный перезвон бокалов перерастал в птичий перелив над Елкой-речкой в шелест осенней листвы. Из этого многоголосья явственно выделялись резкие хлопки могучих крыльев ЕГО глухаря.



Души неприкаянные

Повесть

Глава I

— Начнем с железнодорожного вокзала, — сказал я и включил правый поворотник.

— С вокзала, так с вокзала, — с тихой покорностью сказал мой попутчик Егор.

Как-то позвонил Кузьма — мой старинный друг-ханты:

— Приедет Егор, родня моя. Помоги чем можешь.

Больше он о Егоре и его нужде не распространялся. Просто: «помоги чем можешь». Кузьма человек таежный, лесной, тратить много слов не любит. Ни к чему шлепать попусту губами. Сам Егор скажет: «Маленько рыбачу, маленько охочусь. Дуся, Паша

привет передают», — вот и весь разговор. Еще спросил, когда приеду — пески помочь почистить да поневодить, рыбки на зиму заготовить. «Жир маленько растрясешь», — непременно ущипнет. Хоть и не говорун Кузьма, а на язык остер.

На вокзале ее не оказалось. Я почти был уверен, что вокзал — это затея пустая. Некуда ей по железке ехать, но проверить для полноты сведений, как говорится, нужно. Вот аэропорт — это дело другое. Вертолетная площадка ей знакома. Речпорт тоже. Я уже мысленно выстроил маршрут через город: речпорт, городской парк, рынок, центральный универсам, аэропорт...

— Может, она не в Вартовске? — попытался я выведать, что известно Егору.

— Наши люди видели ее здесь, — Егор медленно достал сигарету, заложил ее за выпяченную нижнюю губу. — Сестра еешная здесь живет, племянница, значит, тоже моя. Дядя я им. Они, правда, давно меж собой не знают. Сестра-то, Светка, городской стала, в конторе где-то работает — начальник. А Полина что — уборщицей на почте. И то уволили, как с ней вот эта беда-то приключилась. Мать их старшая у нас была, потом я, Спиридон, Тихон, Яков. Никого теперь уже не осталось. Один топчусь еще. Мать-то ее Анной звали. Вместо матери у нас после смерти родителей осталась. Всех на своем горбу

вытащила и похоронила всех. Не приведи господи кому такую долю.

Молчаливый поначалу Егор потихоньку раскочегарился. Речь его текла складно, говорил он почти без акцента, слегка смягчая звонкие гласные, и меня его рассказ, что называется, «зацепил» за живое. Он делал длинные паузы, двигался дальше сначала робко, словно нащупывал невидимый глазу занесенный снегом путь, затем голос его набирал привычные обороты и непрерывным тихим бубном, перебивая уличный шум, глушил мотор и все вокруг. Я не просто слушал, я видел его рассказ в красках, в многозвучии, мне порой казалось, что я там. Он был талантливым рассказчиком, не отвлекался на мелочи, хотя мелочей в такой истории не могло быть. Каждое слово впечатывалось в мою память. Мне показалось, что Егор давно хотел поделиться с кем-то горем, излить тоску, переполнившую его истерзанную душу. Я оказался благодарным слушателем. Занятый вождением машины и пораженный услышанным, я лишь изредка позволял себе прервать Егора.

В речпорту видели Полину пару дней назад. Да, кассир, полная неразговорчивая женщина, помнит: ходила здесь молодая хантыйка. Вроде как «не в себе». Потом до ночи сидела вот там на скамейке. Напоили ее чаем. На ночь зал закрыли, и она ушла в город. Милиция уже интересовалась. Ищут.

Неделю милиция всего района и города разыскивает Полину. Из деревни уехала она на аппарельке. Люди видели ее, простоволосую, нетвердо стоящую на ногах, у пристани. Апарелек прошло много — сезон, и на какой ее увезли, никто сказать не мог. Говорят, что останавливалась самоходная баржа с досками. Кто-то слышал, что музыка громко играла.

— А больше ничего не знаем. Милиция спрашивает, а кто его знает? Каждый своим делом занят: кто в лесу, кто на рыбалке, кто по хозяйству... — Егор уже обвыкся и успевал на ходу озирать городские пейзажи, всматриваясь в толпы прохожих. — Тесно как людям. Места мало, — ворчит он. — Вон там, в лесочке, посмотреть нужно. Здесь она могла ночевать.

Остановились у городского парка. Стройные березы просматривались далеко. Лишь в одном месте на самом краю густились кусты ивняка. Егор напрямую, не обращая внимания на песчаные дорожки, сутулясь, направился туда. Интуиция ему подсказывала, что искать нужно в том углу.

— Ночевала она здесь. Только не сегодня, — Егор шевелил рукой примятую траву, тронул пустой прозрачный пакет с остатками хлебных крошек. — Городские много мусора оставляют.

Глава II

Анна после смерти родителей замкнулась. Из веселой беззаботной девочки-подростка в одиночестве превратилась в молчаливую и угрюмую женщину, обремененную заботой о своих младших братьях. Детство ее закончилось в четырнадцать лет. Еще вчера у нее было все: и ласковая мама, и всеми уважаемый, добрый отец, и любимые братики и сокровенная мечта, о которой она сказала только маме — стать учительницей.

Сердце начало тревожиться уже когда мать с отцом не приехали ночевать. Соседи утром собрались на Большое болото искать: трудно объяснить ночевку на ягоднике, что в двадцати минутах ходу на обласке по старице, да еще среди лета.

Еще не успела соседка тетя Фрося подобрать слова, чтобы сообщить страшное, а земля под ногами Анны колыхнулась, и она провалилась в пропасть...

— О, боги небесные! И ее не обошла трясущая! — Ефросинья подхватила ослабевшую Анну, уложила на полати. Тело Анны вытянулось, содрогнулось страшной судорогой. — Уходите на улицу! — прикрикнула она на мальчишек.

Мать Анны Евдокия Кармина, страдавшая «падучей», боялась, что и дочери передалась эта болезнь, но припадков у Аннушки не было. Она хорошо училась. Евдокия радовалась: она могла

смело смотреть Афанасию, своему мужу, в глаза, не боясь укоров.

Анна проспала до следующего утра. Сон ее был неспокоен. Сутки металась в жару.

Унесло ее в упряжке из семи оленей с местным шаманом Григорием Прациным в неведомую даль. Выше деревьев летят олени, огонь из-под копыт высекается. Уже с луной сравнялись. Звезды рядом мелькают, золотом-серебром блещут. До большой реки Ась домчались. Лентой река тянется в сторону полуденного солнца и в другую — холодную сторону тоже. Развернулась упряжка, на свет, в сторону полуденного солнца полетела вихрем. Больно глазам сделалось. Река внизу то в сторону восхода солнца повернет, то в сторону захода. И так семь раз по семь и еще семь раз. Долетели до места, где Большая скала посередине стоит, реку на две части делит. А на той скале капкан большой стоит. Крикнул шаман: «Бросай что-нибудь в капкан, как бы самим не угодить». Достала Анна большую щуку из сумки, бросила, капкан закрылся.

Долетают до самой большой горы — Аллепеле-чив-ех. На ней лица знакомые, тех, кто умер давно, и тех, кто покинул мир людей недавно. И они спрашивают: «Кто вы, куда летите? Какие помыслы ваши?» Отвечает шаман: «На большой реке Вах живем. Зверя, птицу промышляем. Оскудела земля. Богатые земли посмотреть

охота». — «К Большому старику Алле-Ике лети-те!» — слышат они вдогонку.

Помчались как ветер дальше. Долетают до большой долины среди высоких гор. Серебром блещут горы, словно золото льется с высоты. Подлетают к золотой юрте самого Торума. Спускаются шаман Григорий и Анна с нарты, набираются смелости и заходят в юрту. Давай кланяться, давай молиться. Молились, молились и говорят: «Там, где мы живем, птицы, рыбы, звери перевелись. Люди хворают, до срока умирают. Где, скажи, есть земля богатая, где люди живут, не зная болезней, и где горя не знают?»

Торум тогда и говорит: «Я смотрю на землю. Сам знаю, где зверю бегать, птице летать, где рыбе нереститься; кому как жить, кому хворать, кому здороветь. Ступайте домой, скажите, что все хорошо будет». Слушают шаман с Анной, низко кланяются старику.

Подошел тогда Торум и положил руку на голову девушке. Ничего не сказал, только пристально в лицо посмотрел Анне.

Выходят из юрты, садятся на нарту. Всхрапнули олени, паром дыхнули в стороны, помчались обратно, ветер обгоняя.

По солнцу, по месяцу летят, семь по семь поворотов делает Большая река Ась и еще семь.

Летят быстрее, чем стрела, пущенная из тугого лука, быстрее ветра летят. Видят внизу озера

маленькие, как точки, реки тоненькие, как ниточки. Ниже спускаются, озера как куженьки кажутся, реки лентами стелются. Шаман и говорит: «Вот река наша Вах» Спустились ниже — озеро огромным стало, река необъятная, конца и края не видно. У самого порога олени остановились.

«Петявола! — здравствуй!» — громко говорит шаман Григорий Пращин хрипловатым голосом, осипшим от табака и частых песнопений под свой знаменитый на весь Вах бубен.

— Петявола! — повторил он и погладил спящую девушку.

Открыла Анна глаза, видит — старый шаман белый как снег сидит рядом, руку ее держит.

Много раз слышала о шамане Анна. Отец однажды Егора к нему возил. Мальчишки в стойбище тогда наелись каких-то кореньев. Всем ничего — отлежались, а Егору шибко худо было: весь вялый стал, на ногах стоять не мог. Только на шамана надежда оставалась.

Больше недели ждала, не отходя от окошка, Евдокия, а рядом, словно прилипнув к ее подолу, тихо ждала и Анна. Мать гладила ее голову и напевала бесконечную песню. Много горя и страдания было в той песне. На всю жизнь запомнила ее дочь. И хоть слышала ее только однажды, пела потом в трудную годину и тоска ее и неизбывное горе растворялись в той материнской песне, уходили вместе с тягучей мелодией куда-то

далеко. Много горя и тоски ей выпало на долю. Длинные песни пела она по ночам.

Засветилось радостью, солнцем лицо матери, когда пристал к берегу облас Афанасия и Егор выскочил из долбленки здоровый и радостный, чуть не сбил Евдокию с ног. А мать обнимала сына и обливала его слезами счастья. Как узнала Евдокия, что именно сегодня вернутся ее родные с далекой стороны, никто не знал. Только тихо сказала дочери: «Сегодня к вечеру приедут». Она не назвала имен: не накликать бы беду на путников.

— Услышал Торум мою молитву! Услышал! — уже громче зазвучал голос шамана. — Она там была! Она видела Торума!

— Мы вместе там были, — прошептали бледные губы Анны.

Анна узнала шамана, с которым летала на оленьей упряжке о семи оленях.

Отец часто рассказывал о нем, об исцелении Егора. Анна бы узнала его из тысячи, хоть воочию не видела ни разу. Только седины меньше было у того, что летал вместе с ней. Теперь же белым он стал как снег. Не могла знать Анна, что побелел он окончательно за последнюю ночь. Неистово молился он Богам, падал в изнеможении на земляной пол, терял голос от курева и бесконечных песен; ноги подкашивались, терялся рассудок, но шаман верил в пробуждение Анны. И оно пришло.

— Она видела Торума! Боги избрали ее! Торум коснулся ее чела! — шаман вскочил на ноги и начал свой танец.

Огонь в чувале колыхнулся. Тень шамана летала по стенам, изгибалась черными чудовищами. Дверь вдруг распахнулась от резкого порыва ветра. Сверкнула ярко молния, ослепив своим серебряным блеском, и раскат грома оглушил присутствовавших.

— Кедр загорелся! Большой кедр загорелся! Боги зажгли его! — кричали люди.

Все люди селения выбежали на улицу и смотрели на полыхающий кедр на высоком берегу Ваха. Григорий с бубном в руках кружил уже на улице и все повторял скрипучим голосом: «Она там была! Торум коснулся ее чела!»

Молния еще и еще сверкала, разрывая своим блеском тяжелое небо. Гром раскатисто громыхал, удаляясь за реку, за дальние болота. Радуга на востоке выгнулась огромным луком, упираясь одним концом в озеро, другим в свинцовый Вах далеко за поворотом. Ливень лил сплошным потоком, но никто не спрятался. Всех заворожило и потрясло это величавое зрелище: горящий кедр и яркая радуга над полыхающим факелом.

Потом долго не шел сон, и только с рассветом Анна снова забылась. Разбудил ее какой-то шум в избе и резкий хвойный запах. Для нее

навсегда остался этот запах кедра запахом смерти. Дверь была открыта. Анна словно сквозь туман видела, как подходят к стоящим гробам, сделанным из цельного кедрового ствола, люди их селения. Приехали и с других стойбищ. Каждый подходящий поднимал один гроб, потом другой веревкой и неизменно повторял: «Еще можно было тебе пожить, зачем умер». Никто не сказал: «Ну, видно пришло время умирать», — как говорили обычно умершим старикам или тем, кого унесла тяжелая болезнь.

Не заметила Анна, как похоронили родителей, не заметила, когда разошлись люди. Не помнила, как помогала Ефросинье подавать еду на стол. Не помнила она, как допоздна мыла посуду, прибиралась в избе. Только две рюмки, стоящие сиротливо в стороне, притягивали ее взор. Еще долго стояли в глазах те две рюмки, накрытые одной краюхой хлеба...

Вдруг стало тихо и одиноко.

Пустота.

Плакать не хотелось.

Слезы кончились.

Она укрыла легким одеялом Яшку и Тихона, поправила подушки Егору и Спиридону, погладила каждого, как делала мама.

...Тот день для Евдокии и Афанасия начинался обычно: снарядили они свой облас, собираясь за морошкой. Вокруг стойбища старики

собирают, а кто помоложе и в силе еще обычно за рекой, за старицей ягоду берут. Уже стали приставать к берегу в своем излюбленном месте, как вдруг встал из-за коряги огромный медведь и бросился на облас. Успел заметить Афанасий, что голова у медведя в крови. «Раненый!» — мелькнуло в голове. Времени на раздумья не было. Он спрыгнул на песок и с силой оттолкнул облас от берега. Жену бы спасти, сам он уже ни на что не надеялся: нож против разъяренного зверя шансов давал мало... Евдокия видела еще, как сверкнул металл в руках Афанасия, она услышала глухой рык зверя и отчаянный крик своего мужа... Не выдержало сердце Евдокии кровавой схватки... Уносил облас бездыханную течением все дальше и дальше от ее суженого, истекающего кровью под крутояром, пока не вынесло облас на пески далеко от селения.

Нашли через неделю еще два вздутых трупа русских мужчин ниже по течению за поворотом. И еще один раненый объявился в Ларьяке. Он и рассказал, как они с друзьями погуляли на природе, как увидели плывущую через реку собаку. Только приблизившись, поняли, что это медведь. Течением лодку понесло прямо на медвежью голову. И тут кто-то схватил топор, ударил с размаху... Расплата пришла сразу.

Глава III

Я с трудом нашел свободное место и припарковал машину у самого входа на рынок.

— Ох, сколько народу! — Егор отмахнулся рукой. — Как земля может прокормить столько?

Я подошел к пожилой женщине, торгующей всякой мелочью: вязаными носками да варежками, узнать что-нибудь о Полине. Встречал я эту женщину и раньше на этом месте. Ничем помочь она не могла. «Столько народу, что не запомнишь всех, кто проходит мимо». Другие торговки отвечали так же. Мы обошли все шашлычные. Там тоже не видели женщины с нашими приметам. Егор морщил лицо, что-то ворчал себе под нос. Видно было, что ему не нравится ходить по рынку, толкаясь локтями. Он часто отставал, пропускал вперед то одного, то другого и ждал, видимо, что и ему уступят дорогу. Но этого не случалось, и он робко протискивался в плотной толпе.

— Ар-ях — много народа! — покачал головой Егор. — Как найдешь тут человека? — он потрогал жидковатые с проседью усы. — Смотрят друг на друга, а лица не видят. Как тут найдешь? Не будет она тут толкаться, — подытожил он.

Я методично объезжал все улицы, держа направление в сторону аэропорта. И времени для рассказа у Егора было достаточно.

— А на следующий день после похорон пришла тетя Фрося к нам, — не теряя нити повествования, продолжал Егор, как только уселся на удобное сиденье. — Помню, Аня подошла к ней, посмотрела так внимательно и говорит: «Тетя Фрося, в город поезжай, доктору покажись. Болезнь у тебя. Только спешить нужно». Я хоть маленький был: кого там, девять лет мне тогда исполнилось, а и то спужался, как на тетю Фросю-то глянул. Побледнела она, губы затряслись. «Елта-ку! — ворожит человек», — крикнула она и побежала на улицу. «Елта-ку! Елта-ку!» — кричала она и бежала от избы к избе. А к доктору она ездила, операцию сделали. Не от этого померла — от старости.

— А что было у Ефросиньи? — поинтересовался я.

— Ты все равно не поверишь. — Егор достал сигарету, стал разминать ее, засопел, словно обиделся. Я почувствовал, что он все же собирается что-то рассказать, и выдерживал паузу.

— Вы, городские, ни во что не верите, а доктора и вовсе, — он посмотрел на меня, чиркнул спичкой, прикрыл огонь ладонями, как прикуривают на ветру, вытянул нижнюю губу и выпустил один-другой клубы дыма.

Я делал вид, что занят вождением машины, и не торопил его. Егор еще немного помолчал, попыхтел.

— У наших такое бывает иногда. Мы в лесу живем. Бывает, воду из болота пьем. Вот и Фрося попила болотной воды и вместе с водой проглотила лягушонка. Лягушонок стал в животе расти, и вырос большой. Что она ни поест, лягушонок прожорливый все съедает. Вот и стала она худеть, а лягушонок растет и растет. Большой вырос. Анна и увидела его. Она насквозь всегда человека видела. Как рентген ваш. Вот как у нее получилось-то после смерти родителей! Прямо экстрасенс, как сейчас говорят. Я вот телевизор иногда смотрю и думаю: «Пустые вы люди. Все болтаете больше». А она все видела, все слышала. Она с деревом разговаривает, оно отвечает ей. Она с травой шепчется, и трава ей рассказывает, от каких болезней что применять можно. Вот как! Сделали операцию Фросе, вытащили лягушку: больш-у-ую — с кулак. И все — поправилась. До старости дожила.

Голос Егора звучал негромко, но так вгрызались слова в мою душу, что не слышно уже ни звуков двигателя, ни городского шума. Мне чудится шелест листвы, я слышу завывания ветра и плеск воды. Словно не колесил я в своей «Ниве» по многолюдному городу, а неслышно ступал по мягкому ягельнику вдоль красавицы реки ясным сосновым бором. Ходил по песчаным улицам селения, слышал незлобивый лай собак, негромкий говор обитателей. Где-то вдалеке дробно бубнил бубен.

С этого времени стали приезжать к Анне со всей реки. Поверили люди в чудодейственную силу ее.

Ездила она к Григорию Пращину. Сам за ней прислал. «Хворый я стал, да и старость меня книзу гнет. В нижний мир собираюсь», — передали ей.

Анна уехала к нему. Долго у него жила. Никто не знает, какие слова говорил он Анне, о чем песни пел старый шаман. Только приехала она домой с бубном шаманским — «коем» новым, одежду привезла: шапку шамана — «елта-мюль», отороченную мехом росوماхи, расшитую шестью бисерными полосками, по шапке ящерицы вышиты. Халат — «елта-лепа» до пят с богатой вышивкой бисером. Рукавицы шамана — «елта-пас» из кожи медвежьих лап с когтями и ноговицы — «елта-нир» — все сделано своими руками. Говорят, и медведя сама добыла, чтоб рукавицы сделать и амулеты. Приехала худая, бледная: кожа да кости. Только в глазах неведомый доселе блеск появился.

Старый шаман еще пожил немного и умер тихо. Никого после Анны не пускал к себе. Никого больше не видел до самой смерти. Колоду-гроб кедровую успел себе сделать. В ней его и предали святой земле.

Случился с Анной как-то очередной приступ. Трясло в этот раз крепко, проспала она долго, а когда очнулась, сказала: «Григорий Пращин

помер. Хоронить поедем». Все, кто мог передвигаться, собрались хоронить старого шамана. Двенадцать лодок отчалили от берега. По дороге еще народ присоединялся. Слух быстро разлетелся: «Шаман умер Григорий Пращин. Сама Анна хоронить едет».

Глава IV

Скоро замуж собралась Анна. Время пришло. Муж звал к себе в верховья, но она не согласилась покинуть родительский дом, и решили молодые начинать свою семейную жизнь на насиженном месте. Дом-то просторный, на большую семью рассчитан, да и поставил его Афанасий не так давно.

Прокопий добычливым охотником был, да и по хозяйству проворный. Жизнь наладилась, появился и достаток. Братьев Анны Прокопий как своих принял. Егор — самый старший, к тому времени седьмой класс закончил, младшенький Яков — только собирался в школу.

Одно огорчало Анну — падучая докучала. Прокопий знал о недуге своей будущей жены еще до женитьбы, но полюбил он свою Анну всем сердцем.

Она редко ходила в лес, редко собирала ягоды, не могла сопровождать мужа на охоте и ры-

балке, как делали другие жены. Все свое время занимала хлопотами по дому.

Как-то она заметила, что хворь отступила. Солнце заиграло ярче, изба словно раздалась и посветлела, какая-то тихая радость зародилась в ее душе: она забеременела. До самых родов болезнь не проявилась ни разу. И пока кормила грудью своего первенца Никиту — тоже. И вторая беременность тоже прошла благополучно. Анна легко рожала свою девочку. Назвали ее Светланой. Родилась она хоть и зимой, но в светлый солнечный день. Свет и радость принесла в дом.

— Мне хоть каждый год рожай: ни разу не трясло. Я чувствую себя совсем здоровой, — как-то, смеясь, сказала она своему мужу.

— И по мне хоть каждый год. Лишь бы тебе хорошо было, — Прокопий нежно прижал к себе Анну. — Прокормим. Руки-ноги на месте, что еще нужно.

Но прошел еще год, другой, а больше забеременеть Анна не могла. Может, сказала простуда. Даже в больницу попала как-то. Всем могла помочь Анна. Попросить у Торума благодати для кого-то ей не сложно, а себе — сколько ни просит — молчат Боги.

Не помогают молитвы.

Не помогают жертвенные подношения.

Не помогают заклинания и увещевания.

Длинная материнская песня тоже не помогла.

Посмурнела Анна, но виду старается не показывать. Замечать стала Анна, что проявляется хворь, когда на душе тяжело. А без горестей-нещадей жизнь разве бывает? Каждому своего хватает. И ее дом тоже стороной не обходит.

Прокопий стал выпивать. Сначала редко. Анну даже веселило поначалу, когда он, подвыпивший, плохо владел языком или, шатаясь, не мог попасть ногой в сапог...

Теперь не до смеху... Дети уже в школу пошли, все понимают, да и присмотр за ними нужен. Хозяйство в запустение приходит.

Заболел тяжело Прокопий. Пьяным нашли его в снегу чуть живого. Не стало хозяина в доме. Тяжелая болезнь сломила его. Стонет тяжело, ворочается ночь напролет, а чуть утро забрезжит, смотрит, где бы вина достать, залить горе. На плечи Анны снова легли все тяготы нелегкого лесного быта. Егор и Спиридон, помня сестринское добро, помогали. Где рыбой, где дичью поделаться, дров на зиму заготовить помогут, да и мало ли в чем нужно подсобить. Живут-то рядом. У них свои семьи, своих детей уже прижили.

Прокопий чахнул на глазах и скоро умер незаметно. Также тихо похоронили его. Потужила-поплакала Анна. Было же у них и светлое время. Плохое забылось.

В аэропорту диспетчер Валентина глянула-стрельнула голубыми глазами:

— Во вторник была Полина здесь, бродила как неприкаянная.

Оказывается, диспетчер знает Полину давно, еще школьницей помнит ее.

— Я место ей сделала. Народу-то сам знаешь сколько бывает на вертолет, — обращалась она к Егору. — Ни за что не захотела улетать. К «сеструхе», говорит, пойду. Мама, говорит, у нее гостит. Я говорю: «Умерла твоя мама, поезжай домой, тебя муж ждет», а она свое: «Маму искать буду». Чаем ее напоила, накормила, хлеба, печенья с собой дала... А теперь вот каждый день милиция ее ищет. Куда ушла не знаю. И зачем приходила тоже не пойму. Прямо как неприкаянная... — повторила она.

Егор потускнел. Я тоже рассчитывал, что в аэропорту найдется ниточка.

— Не расстраивайся. Обратно поедем другой дорогой, еще поищем, — попытался я хоть как-то поддержать Егора.

— Расстраивайся, не расстраивайся, найти нужно ее — завтра вертолет. Потом торчи тут неделю, а мне в тайгу уходить нужно: осенью каждый день дорог, так что найти ее нужно... Все равно найдем, — в его голосе я уловил уверенность, которой у меня уже не осталось.

Я предложил пообедать в буфете аэропорта. Он согласился, и мы уселись за угловой столик. Больше никого в буфете не было, и за обедом Егор продолжил свой рассказ.

Потянулись бесконечные будни. Ни праздников, ни выходных. Каждый день друг за друга цепляется, и нет им конца. Приедет кто издалека за помощью к Анне. Она обряд шаманский справит, полетит то на оленьей упряжке, то на большой птице — «Курок» в далекую сторону у Торума совет спросить. Откроет глаза, расскажет все как есть о болезни или как горю помочь. Трав да корешков засушенных даст.

А больше всего ей узнать хочется, что нового, чем народ живет. Вот нефтяники какие-то начали нефть — горючий жир земли добывать. Народу много прибывает. Да она и сама замечает, что много новых появляется в селении. Не долго, правда, задерживаются. Поживут маленько зиму-другую, попробуют на зуб жизнь таежную и сматываются. Немногие остаются, но если уж пришлась жизнь им здешняя по душе — пускают корни.

Вот и к ней прибился Андрей Ненашев, лесник нового лесничества. Ненаший, говорила Анна. У соседей квартировал Андрей. Сначала помогал Анне по хозяйству. Одно, другое сделает. Плотницким делом хорошо владел. Крышу перекрыл, лабаз поправил. И как-то незаметно

к Анне перебрался. Она и не против была, хоть и чужеземец, а охотничал добычливо, в рыбной ловле толк знал, да и к детям ее подход нашел. Братья его тоже признали. Анна снова повеселела, почувствовав опору.

Тяжко одной-то...

Ох, как тяжело!

А тут деньки полетели легким пухом, ночки порхали быстрее. Все заладилось, все как-то само собой получается. Лето прошло, зима промелькнула, не успев надоесть, и снова лето, снова зима. Незаметно время летит. Когда все ладом пошло, и хворь реже о себе напоминает.

Но видно судьба такая Анне досталась, что не надолго счастье задерживается у ее порога. Андрею предложили должность в городе: к тому времени институт окончил заочно. Он звал Анну, но она осталась в своем доме. Не могла она уехать из дома своих родителей. Андрей часто приезжал, уговаривал, но Анна осталась при своем. А потом пришло известие, что погиб в авиакатастрофе. Попросилась с Егором на могилку съездить. К тому времени приступов не стало, и поняла она, что носит под сердцем частичку того добряка-бородача, последнего в своей жизни мужчины.

Полиной назвала дочку. Андрей упоминал как-то о маме своей, что похоронена в Тобольске, Полиной ее звали. Тяжело досталась ей дочь, чуть не умерла в родах, но Боги услышали ее молитвы,

и стала Анна с помощью своих Богов и русского Николы-Торума поправляться. Рядом снова Ефросинья, уже убеленная сединами.

Слабенькая Полина поздно стала на ножки, поздно разговорилась. Анна часто сидела вечерами у пышущего жаром чувала и пела дочери песни своей мамы, вспоминая свое короткое детство, своих родителей.

Только улетая на быстрой нарте о семи оленях во время молитвенных танцев и пролетая высокие скалы, видела ясно их лица. «Куда летишь? Какие помыслы твои?» — спрашивали они. «На такой земле живем, где плохо живут люди. Зверя, птицы совсем мало стало. Посмотреть где лучше живут» — отвечает Анна. «Лети к большому старику Алле-Ике, дочь. Он все скажет!» — слышала в ответ знакомый материнский голос.

Не нашла она богатую землю, где живут в достатке люди. Не встречались ей края, где не знают горя и страшных болезней, где не теряют своих родных и близких. Обратно домой возвращала ее чудо-нарта.

Открывала, очнувшись, усталые глаза и говорила: «Торум сказал: хорошо будет».

И с этой верой жила и другим помогала верить: «Хорошо будет»

Поздние дети всегда любимые. Истомилась душа по родному. Невыносимо длинные ночи и монотонные дни, похожие один на другой, раз-

бавились заботами о младшенькой. Часто вечерами рассказывала сказки Анна своей Полинке. Сказки своей мамы, бабушки. Закончатся сказки, про жизнь свою горемычную расскажет, песню затянет без начала и конца, пока не уснет Полина, прижавшись к маминой юбке.

Старшие Никита и Светлана надолго улетают вертолетом в школу-интернат (в деревне только начальная школа), и на долгие месяцы остаются в просторном доме вдвоем мать со своей любимой доченькой. Везде вдвоем: за водой к ручью идет Анна и Полина рядом. Дрова колет мать, дочь полешки собирает и складывает ровненько в поленницу. Мать шитье возьмет, и Полина за иголку берется. Упадет Анна в беспамятстве — дочь подбежит, подушку под голову подложит и сидит рядом, пока не отпустят тело матери страшные судороги, или позовет бабушку Фросю. Та уж знает, чем помочь маме.

— Не страшно тебе, Поля? — спрашивает седая старушка.

— Нет, бабушка, не страшно. Жалко маму. Ей больно?

— Сейчас не больно.

— А есть лекарство, чтобы вылечить маму?

— Нет такого лекарства.

И пока не проснется Анна, не уйдет Ефросинья домой. Как со своей родной внучкой нянчится.

— А почему у меня бабушки и дедушки нет? — спросит Полина.

— Тебя еще на свете не было, умерли они. Дед твой Афанасий бабушку Евдокию, жену свою, спасал, в лапы медведю сам бросился, а у ей сердце слабое было... — к горлу старухи подкатит ком, не дает дальше сказывать. Полинка притихнет, округлит глазки. Страх ее берет.

Ефросинья подбросит в чувал дров и начнет рассказывать про дедушку Афанасия и бабушку Евдокию. Как жили когда-то, каким знатным охотником был дед и какой мастерицей бабушка ее была: на весь Вах славилась умением бисером вышивать.

— Мама твоя у своей мамы, твоей бабушки, научилась узорам разным и ты научишься.

— Я уже маленько умею, — и Полина достает платице для куклы, сделанное своими руками. — Дядя Егор куклу обещал сделать.

— Раз обещал — сделает, — вздыхает тяжело Ефросинья и смотрит на яркие языки пламени, облизывающие казанок. Помешает варево деревянной ложкой, снова подсаживается к Полинке.

— А это мой папа? — достает фотографию девочка.

— Да. Папа твой хорошим человеком был, в город уехал, маму твою звал... Машина убила его. Их там, в городе, мн-о-о-го, — Ефросинья сде-

лала паузу, — больше, чем людей, однако, — старуха смахнула слезу. — Душа у него добрая была.

— А душа какая? — спрашивает девчушка и заглядывает в глаза седой старухи. Она часто слышит это слово и не понимает, какая бывает душа. Рука, нога — понятно, а душа?

— Душа она тенью ходит рядом с человеком. А умрет человек — покидает его навсегда, копалухой может перелететь к другому.

Полина представляет себе огромную машину, что убила ее папу, его душу, улетевшую навсегда. Она не знает, как машина может убить человека. Представляет себе огромную летящую копалуху с бородатым лицом из фотографии. Ей страшно, и она прижимается к бабушке Фросе.

Глава VI

Проводила Анна в армию своего первенца, уехала Светлана в город. Не вернулись больше они в родной дом. Никита после армии осел в Ново-аганске. Старшая дочь окончила бухгалтерские курсы, поступила заочно в институт, и скоро назначили ее главным бухгалтером. Только однажды она приедет в родную деревню: на похороны своей матери. Будет она рыдать и просить прощения, что не нашлось времени поговорить с мамой. Только деньги присылала да гостинцы

к праздникам. Все деньги нетронутые нашли потом в сундучке, перевязанными веревочками и аккуратно сложенными: и те еще старые, дореформенные, и те, что менялись, приобретая и теряя нули.

Сын Никита навещается в отчий дом каждое лето.

— Хорошая у тебя жена, — говорит Анна, выглядывая в окошко. Там под навесом Ирина управляет с крупной рыбиной. — По-нашему щуку чистит. Научилась.

Ирина ловко подрезает острым ножом чешую, вспарывает рыбину, нарезает ломтиками для жарки. Рядом бегают маленький Ромка. Анна души не чаёт в своем внуке, и он любит слушать ее сказки. Только солнце садится за реку, а он уже тут как тут:

— Расскажи, баба, сказку про зайчика.

— Слушай, пухие, мальчоночка мой, — усядется возле окошка Анна и начнет сказку про зайчика.

— Не так, — поправляет бабушку внучек, — вчера ты не так рассказывала.

— Так то вчера было. День прошел, с зайчиком уже другая история приключилась.

— А где зайчик живет?

— Там, за ручьем. Завтра я тебе покажу, где он спит. Там и пух его есть, и тропинку его покажу. След от его лапки остался.

— А лисичка тоже там живет?

— Лисичка за урманом в норке. Вон в той стороне, — махнет рукой Анна.

— В другом лесу?

— Сказка в нашем лесу живет, — говорит Анна и смотрит на Полину. Мол, Полинка знает.

Дочь тоже слушает. Она удобно устроилась на оленьей шкуре. Ромка прижался к ней и не сводит глаз с бабушки. За бабушкиной спиной слабо подмигивает темнеющее окошко.

Мальчик прислушивается к шелесту листвы, к шуму летнего дождя.

Сказка рядом живет...

Побагровела первая осинка на том берегу ручья, порыжело болото. Дожди зачастили нудными серыми космами, небо потяжелело, выцвело, потеряв свои веселые летние краски. Завтра все уедут. Полина в школу-интернат собирается — выросла, окончила начальную школу. Вон уже и ранец с книгами надулся у окна. У сына заканчивается отпуск.

Анна уложила уснувших детей, открыла дверь проветрить избу, подложив полено, чтоб не закрывалась. Душно стало от печки. Села у окна и уже не видела и не слышала, как пришли Никита с Ириной и тоже улеглись у дальней стенки, где раньше стоял чужал, а теперь красовалась сделанная руками сына резная полка для посуды.

Переливы ее песни закружили легким танцем, чуть слышно зашуршали по углам. Слезы катились по щекам теплыми прозрачными ручейками...

Когда закончилась ее песня, когда сон склонил тяжелую голову к подушке, Анна не помнила.

Утром проснулась раньше всех. В одной руке она сжимала уже высохший за короткую ночь платок, другая рука обнимала младшенькую доченьку и внука. Она поняла своей израненной душой, что тихое счастье кончилось. Одиночество уже стучалось настойчиво и неотвратно.

А как немного ей нужно, чтобы чувствовать себя счастливой: видеть детей своих, внука и знать, что Боги благосклонны к ним.

Сегодня во сне Белый старик приснился ей. Сидит среди юрты. Свет золотом разливается, слепит блеском своим.

— Тяжело живется, уезжают далеко родные мои, покидают родной дом. Скажи, как уберечь детей моих, чтобы не болели, чтобы удача не отворачивалась от них? — спросила тихо.

— Я знаю, кому как жить, кому хворать, кому здороветь, кому удача улыбнется, от кого отвернется. Однако всем хорошо будет, — улыбнулся старик.

И на душе Анны потеплеет. Одиночество она переживет, лишь бы у них все сложилось удачно... Нашел бы каждый свою тропинку в жизни. И не пришлось бы петлять подобно зайцу, запу-

тывая следы, а торили бы свой путь прямо, ощущая твердь земли, обретая уверенность с каждым шагом. Были бы чисты их помыслы...

Все дети селения, повинувшись неизбежной доле, собрались на вертолетной площадке задолго до назначенного времени. Вертолет ожидали к полудню. Мальчишки носились по бревенчатому настилу, девчонки в стороне, выбрав место поровнее, играли в резиночки. Родители стояли тихо понурив головы рядом со сваленными в кучу сумками, школьными ранцами. Полина не плакала, уезжая из дома. Прислонившись к маме, она держала на руках самодельную куклу, одетую в платице, украшенное бисерной вышивкой. Куклу из дерева сделал ей дядя Егор, а одежду сшили вместе с мамой. Так и стояли они в стороне, слившись воедино.

Мать и дочь.

В преддверии разлуки.

В преддверии одиночества.

В преддверии бессонных ночей, бесконечных песен и слез.

Как ни ждали вертолет, а появился он внезапно, словно выплыл из-за высокой гривы. Залопотали лопасти, поднимая пыль, заметушились взрослые, собрались в кучку дети. Наспех обнялись.

Так же внезапно, как и появился, вертолет набрал высоту, замер над площадкой. Развернувшись,

с места взял разгон и вскоре превратился в беззвучную точку.

Рано утром сына, сноху проводила. Долго Ромку отпустить не могла, и только когда капитан катера громко рявкнул в рупор, оборвалось сердце Анны.

Теперь вот и дочь улетела...

Одна, совсем одна осталась Анна.

Глава VII

— Как все-то поразъехались, — Егор запнулся, поднял голову, вслушиваясь в очередное объявление.

Так он делал каждый раз, будто ждал какого-то известия. «Внимание пассажирам рейса номер...» Егор, выждав, когда металлический голос умолкнет, продолжал:

— Так вот, как все-то поразъехались, Анна и вовсе сникла. Замкнулась совсем. Шаманить даже не могла. Люди и докучать перестали. Видят, что не до того ей. А тут и братовья покинули наш мир. Всех похоронила по нашим обычаям. На похоронах хоть бы слезинку обронила. Нет, не плакала. Она же их как сынков своих доглядала, матерью им была. Пожить толком не успели. Яшка и жениться не успел. Шибко пил. Как пришел из армии, так мы его трезвым не видали. Там,

видно, и пристрастился. Сгорел заживо. У него даже лицо сделалось черное как уголь. В гробу маленький такой лежит. Легкий стал. Сгорел, совсем заживо сгорел. Уголек один остался. Нашли его в дальней избушке. Повесился на крючке, на котором когда-то зыбка его висела. Грех какой! Шибко, видно, огонь-то его донимал изнутри. Не было сил терпеть. Говорят, огонек над лицом горел. Вот как! — Егор швыркнул носом, глаза его увлажнились. — А Спиридона с Тихоном в ту осень Вах принял. Они уже по шуте в Ларьяк сладились ехать мотором. Ягоду остатки свезти да на зиму запасы кое-какие сделать. Что случилось с ними на обратном пути, только догадываться можно. Прибило их к берегу... Спиридону винтом полголовы снесло. На скорости, видимо, мотор завели, вот и крутнуло лодку. Тоже без вина не обошлось. В лодке водку недопитую нашли. Раньше-то они не пили, а тут... — Егор заволновался, оглянулся по сторонам. — А как не запить, если здоровые мужики в семье достаток не могут поддержать. И не лентяи ведь. Лучше их кто по Ваху рыбачить умеет? Хоть летом, хоть зимой под метровым льдом. А кому она теперь эта рыба нужна? Тонн пять как-то сгноили, а сдать некуда. Пообещали в «Фактории» принять, но так и не удосужились за зиму. Весной всю свезли в яр, закрыли. Мимо пройти нельзя... Обходили то место дальней дорогой... Ягоду всю осень берут

не разгибаясь, гнус, комарье сутками кормят. А деньги за ягоду через год получают и то по частям. Они те деньги уже и не стоят ничего. Даром, значит, горбателись. Надломилось что-то у них. Вместе и пить-то начали от безнадёги... Схоронили их рядом со свежей еще могилой младшего брата. Тут-то Анну совсем свернуло. Что-то сделалось с ней. Каждый божий день стала она на могилки ходить. Пойдет, постоит там, помолится. Оттуда на вертолетку сходит, там посидит на бревнах, а потом — на пристань. Долго стоит на берегу, вдаль смотрит. О чем думает никто не знает. Только потом домой идет, мелко ногами перебирает, тихо шевелится. Совсем старухой седой стала. В сорок лет... И так вот каждый день. Каждый день, — повторил для убедительности Егор.

— Что ж ты так убиваешься? — бывало, спрошу ее.

— А как же, Егорушка, — мои ведь, все мои, — зальется тогда слезами. — Как же так, — говорит, — что человек своим трудом прожить не может? А как жить?

— Ты бы себя поберегла, вон вся седая стала, исхудала, смотреть страшно, — говорю.

— Думаешь, в избе-то легче? Схожу на могилки, помолюсь, мне и на душе светлее станет. О Полинке душа болит. Тяжко ей будет, ох тяжело, — и снова в слезы.

— Часто Полинку вспоминала: «Тяжко ей будет. И я во всем виновата». Как будто знала что наперед. Хотя как не знать, она все знала... — Егор встал, стряхнул крошки с одежды, все, мол, хватит расслаиваться.

Хватит так хватит. Поехали дальше. Рыкнул с полуоборота мотор, Егор достал сигарету, долго разминал, пустил дым клубами, задумался. Оживился он, когда въехали в город. Я свернул на Омскую.

— Сюда поверни, сюда! — Егор дернул руль, чего раньше не бывало, и я чуть не врезался в идущую справа машину, но притормозил и резко рванул вправо, на улицу Менделеева.

— Ты, Егор, хоть заранее предупреждай, не в тайге, чай, — пожурил его. — Чуть аварию не сделали.

— Померещилось мне или вправду ее увидел, — не обращая внимание на мои слова, сказал Егор. — Туда прямо, потише тут. Вот она! Вот она! — он тыкал пальцем у меня перед носом в окошко с моей стороны, закрывая видимость.

Я не успел еще остановиться, он уже выскокил, побежал через дорогу, взвизгнули тормоза. Водитель «Волги» громко заматерился в открытое окно. Я пошел следом за Егором.

— Петявола, — остановился он перед Полиной.

— Здорова, Егор, — грубовато ответила она.

У Егора на глазах задрожали слезы, он хотел обнять Полину, но та отшатнулась. Полина стояла с распущенными спутанными волосами, цветастый платок сбился на затылок, кожаная куртка распахнута. Посмотрела на своего дядю отнюдь не дружелюбно.

— Чего тебе надо?

— Я тебя ищу, Полинушка, тебя вся милиция уже неделю ищет.

— Зачем меня искать? Я вот она. Не прячусь ни от кого. У меня сеструха тут живет. Я к ней иду. Мама у нее. Вот ищу. Не помню, где сеструха работает. Знаю, что контора такая кирпичная. Мама у нее должна быть, — заключила она и уставилась в землю. — Маму ищу, у сеструхи она, — повторила она упрямо.

— Не найдешь. Светку в другое место перевели. Туда так просто не пускают — охрана.

— Меня пустят: она же сеструха моя... Я кушать хочу. Два дня не ела. Маму ищу, — как-то быстро перескакивала Полина с одного на другое.

— Мама умерла. Зачем ее здесь ищешь? Поехали.

— Куда? — насторожилась Полина.

— В гостиницу.

По дороге Полина жевала булку с колбасой, запивая «Фантой». Егор загодя купил еду. «Она ведь голодная столько дней», — он не сомневал-

ся, что найдет ее сегодня. Как он мог знать, что найдет?

— Дай закурить, — обратилась она к своему дяде.

— Тебе в больницу нужно, — Егор протянул сигарету.

— Не хочу я в больницу. Меня снова в психушку положат, а я не псих. Я убегу оттуда, — не на шутку заволновалась Полина и забилась словно птица в клетке.

— Мы не в больницу, в гостиницу тебя возьмем, а завтра на вертолет и вместе с Егором домой, — разрядил я обстановку.

Полина успокоилась и до самой гостиницы сидела тихо, попыхивая сигаретным дымом.

В гостинице для коренных жителей места были. Полину поселили к женщинам из ее селения, а мужская половина была и вовсе свободной. Егор занял одну из четырех пустовавших коек. Нам никто не мешал за чаем продолжить разговор. Егор заметно оживился. Для него ничего необычного в том, что мы нашли Полину, не виделось. Он с самого утра и весь день ни на минуту не сомневался, что племянница его найдется. Завидуя его оптимизму, я объективно оценивал шансы и понимал тщетность наших усилий. Теперь же ловил себя на мысли, что вся эта невероятная история не могла иметь другого конца. А с другой стороны, мой здравый рассудок

сопротивлялся: как можно найти человека в двухсотпятидесятитысячном городе? За один день. Притом, что милиция уже неделю прочесывает город вдоль и поперек. Не иначе как тут не обошлось без невероятной чертовщины или, может, Божественного промысла. Егор, видимо, призвал на помощь всех богов, и не только.

— Я, как сюда-то собрался, на могилке Анны побывал. Она мне сказала: «Все хорошо будет», — словно читая мои мысли, начал Егор. — Я знал, что найдем Полину.

— Как же можно знать, если ее неделю милиция найти не могла? Это просто случайность.

— Завтра вертолет. Мне ее завтра увезти нужно. А без нее мне возвращаться нельзя, а ты — случайность, — упрямо сказал Егор.

— Егор, а как же Анна ходила на кладбище? Она что — выздоровела? — решил я направить его на продолжение прерванного в аэропорту разговора.

— Нет, трясучая не покинула ее. Реже, правда, приступы стали. Бывало, упадет прямо в лесу, отлежится и дальше идет, а то и в поселке скрутит ее. Потом, правда, собака ей помогала, Карай. Шибко умный пес был. Без него шагу ступить не могла. И он без нее ни-ни. Куда она, туда и пес. Все рядом ходит тенью. Как только у ней приступ приближается, руку лизнет, взлает — знать даст. Она домой быстрее — приляжет. Как он это

знал — неведомо. По-нашему, собака не может в доме жить. А вот Карай у нее дома как человек жил. Только постелька у него у порога была сделана — так, фуфайка старая. Собаке-то у порога лучше.

— Откуда такая собака?

— Полина из интерната привезла. — Егор затянулся, долго выдавливал из себя дым.

Глава VIII

На новом месте Полина привыкла быстро. Старших девочек, соседок по комнате Вику из соседней деревни и Нину из ее же улицы, она знала и раньше. В школе-интернате ей даже понравилось. Чисто везде, уютно. Только по маме скучала.

Ей нравилось дежурить на кухне. Повариха тетя Маша спрашивает, бывало, заранее зная ответ:

— Что будем готовить на ужин, Полюшка?

— А это... пюре из картошки, — скажет тихо и покраснеет девчушка.

— Картошку так картошку, — тетя Маша достает остатки из мешка, и садятся они чистить.

Стружка, извиваясь, падает в ведро, белые клубни бросают в кастрюлю с чистой водой. Тетя Маша все это время о чем-то рассказывает: как в школе училась в большом городе, как на барже

они с родителями плыли по бесконечному Ваху в Ларьяк.

— Мне тогда семь лет исполнилось. В церкви нас поселили. Так и жили — каждый в своем углу. Кто только до греха такого додумался: людей в церковь поселить? Мне все запах лампадок чудился, как у бабушки в деревне. Потом расселили всех по квартирам, а церковь разобрали по бревнышкам. Теперь и свечку негде поставить. Родители у меня умерли. Так и живу. Муж в город подался, а меня с собой не позвал... — нож в ее руках замирает...

Задумается. Защемит сердце. Капнет слеза на острие ножа, разлетится на множество мельчайших осколков...

То про сторожа одноногого начнет рассказывать. На войне ногу потерял. Полине непонятно, как ногу можно потерять, и она себе придумывает сама, как потерялась нога деда Антона. Ей вдруг покажется, что вот дед Антон проснулся утром там, на войне, а ноги нет. И он ищет ее то под подушкой, то под кроватью, а ее нет. Он хватается за голову и плачет. Полина видела как-то старого сторожа в слезах. Тот выпьет, бывало, и душит его прошлое своей жестокой натуральностью.

— Досталось ему. Один теперь на всем свете. Жена умерла, а детей у них так и не было, — смахнет слезу повариха.

— Как это один? Вон сколько людей в деревне! — Полина даже рукой повела, совсем как взрослая.

Нравится тете Маше эта девчушка. Сердце доброе у ней. И непосредственность детская и искренность подкупают эту грузную, с виду суровую женщину, повидавшую на своем веку всякого: и несправедливых укоров, и насмешек от односельчан. А тут и выговориться можно без опасения, что осудят.

— Он добрый и все умеет по дому. Хозяйственный. Как сошлись мы с ним, сердце мое оттаяло, а то и жить не хотелось.

— А моя мама тоже одна осталась дома... — теперь уже Полинка смотрит невидящими глазами в окно.

— Там косточки твоему щенку приготовила да объедки кой-какие. Так и сидит под порогом, тебя дожидается, — вздохнув, переводит разговор на другое тетя Маша.

— Я его домой возьму. Маме. Он ей понравится. Я уже придумала, как звать его буду — Караем.

Щенок месяцев четырех прибился в школу-интернат. Нашел себе убежище под крыльцом с черного хода. Полина его подкармливала, и щенок, отзываясь на ласку, признал ее и даже защищал, облаивая мальчишек, норовивших дернуть девочку за косичку. Сорванцы нарочно иногда

толкнут девчушку, вызывая ярость щенка. Он отчаянно бросится на обидчиков, схватит попавшуюся штанину с таким остервенением, что мальчики убегают, оставив Полинку в покое.

А защитник подбежит к Полине и смотрит в лицо: «Вот я какой» — говорят его светящиеся счастьем глаза.

Так же молча, как и провожала, встретила доченьку Анна. Каникулы-то недолгие. Что тут радоваться: не успеешь наглядеться на ненаглядную свою Полинку, как снова в дорогу собирать. Она не сразу даже заметила, что этот повзрослевший щенок, что выскочил из вертолета вперед всех, бежит всю дорогу за ними. И только перед самой дверью в дом спросила:

— Чья собака с вами прилетела? Смотри-ка, за нами увязалась. Уходи, уходи, — махнула она рукой. — Не гоже приваживать чужих собак. Одного хозяина должна знать.

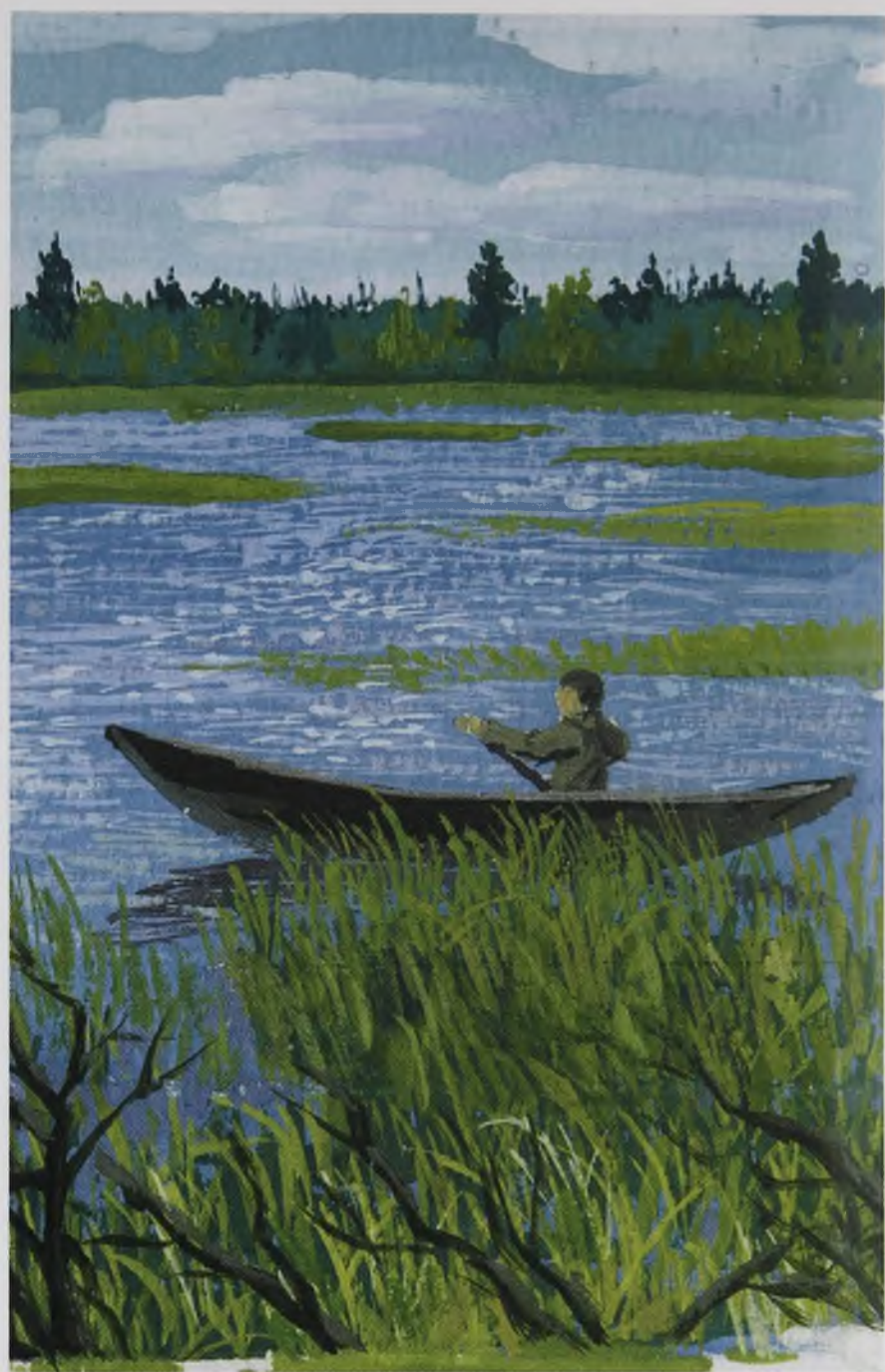
Пес в один скачок очутился рядом с Полиной, прижался спиной и залаял, но не злобно, а как бы говоря: «Мы вместе»

— Это Карай, мама. Я тебе его привезла. Он хороший, он тебе понравится, — поглаживая своего друга, торопливо сказала Полина.

— Карай? Когда-то у нас был Карай. Я маленькой была, как ты сейчас.

— А я знаю, мне баба Фрося рассказывала. — Полина поставила сумку на снег.





Карай, словно понимая слова, лизнул ее руку, затем подбежал к Анне и сел рядом с ее ногой. Она почувствовала тепло от прикосновения, присела, взяла двумя руками хитроватую морду и внимательно посмотрела в желтые с грустинкой глаза. Теплый язык беспардонно скользнул по лицу, губам, не дав возможности Анне что-либо сказать, и она рассмеялась, отшатнулась назад, потеряв равновесие, повалилась в снег. Полинка, взвизгнув, подбежала, навалилась на маму, пытаясь натереть лицо снегом. Анна громко захохотала, увернулась; бросая высоко снег, поднимала белую пыль, искрящуюся на солнце. Они кубарем катались в снегу, не замечая прислонившуюся к углу дома старую Ефросинью. Вокруг с лаем носился Карай и хватал своих хозяек за одежду, руки, ноги. Каждый радовался своему маленькому счастью.

Глава IX

С появлением Карая, этого рыжего непоседливого и вездесущего вихря, жизнь Анны приобрела какие-то новые, доселе неведомые очертания.

Началось с того, что не привыкший к поводу Карай пролежал сутки, отказываясь от еды. Нет, он не срывал ошейник, не извивался ужом, пытаясь выползти из ненавистной петли.

Он безропотно дал себя поневолить, залез в сделанную Егором новую конуру и, лежа на мягкой подстилке, смотрел потухшими глазами на ограниченный поводком мир.

— Лежит в конуре целый день, смотреть жалко, — комментирует Анна, зная, что Ефросинья стала слаба глазами и различает только свет да очертания предметов. Предлагали операцию на глазах, но она отказалась. Мол, сколько той жизни осталось.

— Ничего, обвыкнется, — пытаюсь успокоить Анну, тихо говорит Ефросинья. Сама же смотрит подслеповатыми глазами в сторону приникшего пса, покачивая головой, словно не согласна с собой.

— Не привыкнет, однако. Ошейник камнем к земле его прижимает. Он свободой надыхался. Не могу смотреть, как он мается, — Анна наклонилась, сняла ошейник.

Карай поднялся, брезгливо тряхнул загривком, освободившись от ненавистного ярма, умыл хозяйку языком, толкнул передними лапами. Анна, как и в первый раз, повалилась на спину, засмеялась:

— Не сердись, Карайчик, не надену больше ошейник... никогда. — Она встала, отряхнула снег.

Карай уже летает вокруг избы, бороздя глубокий снег, и после каждого круга подбегает к Анне, подпрыгивает, прицеливаясь языком

в лицо. Анна ловко увертывается: «Ну, будет тебе, будет».

— Зайди, соседка, чай пить будем, — Анна открыла дверь, остановилась на мгновение в дверях, пропустила вперед Ефросинью. Та нащупала ногой порог, шагнула в избу.

Сама же вытащила собачью подстилку из конуры, бросила в избе у порога. Карай тут как тут, сел у открытой двери, не решаясь переступить порог.

— Иди ко мне, иди. Вот место твое, — потрепала рыжий загривок Анна.

— На того вашего Карая похож? — спрашивает Ефросинья.

— Похож... Место свое признал, а к столу не подходит. Умный, — кивает в сторону собаки Анна. — Здесь жить будет.

Анна помогла Ефросинье пройти к столу, усадила, посмотрела на старуху. Нелегкая жизнь досталась этой хрупкой женщине. Казалось, каждый день оставил свой след на ее лице. Некуда уже ставить отметины... Замерло сердце Анны. Последнюю зиму, однако, зимует ее добрая соседка.

— Что замолчала? — насторожилась Ефросинья, будто отгадала ее мысли.

— Смотрю на тебя, тетя Фрося, и думаю: тяжело тебе в жизни пришлось. Ох-хо-хо! — вздохнула тяжело Анна.

— Тебе, что ли, легче было? С мальства ведь тебя помню. Роды у Евдокии, твоей мамы, принимала. Крепенькой ты родилась. Красивой была, голосочек зво-о-о-онкий. Только рано отзвенел твой колокольчик. Вон какую ношу с пятнадцати годов тянешь. Сейчас вот не вижу обличье твое. Седой, поди, совсем стала, — старуха потянула руку на звук поставленной кружки. Анна помогла найти — не обварилась бы горячим чаем. — Помирать пора, в нижний мир собираться. Зря только землю топчу. Кому от меня польза... — Ефросинья отпила чай, взяла из руки Анны пряник, макнула в кружку.

— Не говори так. Не ты — мне бы не выжить. Дневала-ночевала у меня, уму-разуму учила. Совсем-то несмышленышем была... Испугалась я тогда... Думала, не справлюсь.

— Так то когда было... А сейчас только одного хочу: дожить до весны. На солнце поглядеть. Оно теперь не слепит меня, как раньше. А потом и в нижний мир можно собираться. Все мои уже там. Одна осталась. Сын маленьким умер, муж с войны не вернулся, а родителей своих, как и ты же, в молодости похоронила. Сгорели они в избушке, а меня чудом спас молодой учитель Ефрем Максимович. Его прислали к нам издалека. Потом замуж за него вышла в семнадцать лет. Давно это было...

Так женщины частенько сиживали длинными морозными вечерами, вспоминая свою горе-

мычную жизнь. Анна каждый день чистила дорожку от своего дома к Ефросинье. Старуха легко находила натопанную тропинку. То у одной посидят за чаем, то у другой для разнообразия. Их связывало общее прошлое. Одними тропками ходили по этой жизни, из одного котла хлебали и радости и горести.

— Морозная, однако, зима выдалась в тот год. Анна всю зиму из дому не выходила, — Егор не спеша пил чай в прикуску с сахаром-рафинадом и так же не спеша подробно рассказывал дальше. — Ну, разве что ко мне иногда забредет да к Ефросинье похаживала по-соседски. На кладбище с морозами ходить не стала. Как-то сидим, чай пьем у нее. Я только с рыбалки вернулся, рыбы ей привез да Ефросинье маленько. Так вот чай пьем, беседуем о чем-то, как вдруг Карай забеспокоился, засуетился, лизнул руку Анне, сел рядом и взлаял как-то странно, а сам пристально так в лицо ей смотрит. Анна и говорит: «Опять трясти будет. Он ведь, Егорушка, меня всегда предупреждает, когда приступ случится. Как знает, понять не могу. За двадцать минут чует, а то и за полчаса». Она легла в угол: «Не смотри на меня, попей чайку. Хочешь, дров пока принеси». Пока управился с дровами, уху поставил. На улице уже стемнело. Хворь-то ее все чаще вечерами ломает. Пес все это время рядом с ней сидит, глаз с нее не сводит. Потрясло ее маленько (к старости-то

ее сильно не ломало). Карай наклонился к лицу и лижет ее в губы, в лоб. Все лицо умыл. Она и проснулась сразу. И нет в глазах усталости и боли, как раньше-то. Вот чудеса какие. Собака ей и лекарь и собеседник.

Глава X

Привычными стали для Анны каникулы-отпуска детей своих. Встречала, провожала, старалась чем повкуснее угостить. Варенья вкусные из морошки, смородины получались. Ромка смородиновое любит, Полина — из морошки. Теперь с Караем ей ничего не страшно. В дальние урманы за грибами ходит. Болота, что за рекой, все исходила вдоль да поперек. Ягод больше молодых собирать стала. Ходит-бродит за грибами-ягодами, песни поет. Для своих ребятишек старается. И Караю, что вошел уже в силу, погулять на волюшке охота. Запахи лесные манят его. То белку облает, то глухаря посадит на сосну и давай его охаживать.

Как-то по осени пришла к Егору:

— Собираюсь я, братец, в избушку дальнюю. Ваях-кенте — зверя ловить.

— Одна, что ли? — опешив от неожиданности, спросил Егор.

— Нет, не одна — с Караем, — она погладила своего верного друга. — За ружьем пришла.

— Яшкино возьмешь, оно почти новое, — после короткого раздумья сказал Егор. — Какого зверя ловить?

— Полинка большая уже. Скоро замуж. Белок добыть нужно, да так что попадет, — заключает Анна сердито. Не нравится Анне вопрос брата. «Зачем спрашивает? — думает она. — Нельзя загадывать наперед. Кушать неубитую утку негоже».

— Жених сам калым принесет за такую невесту, — Егор достал ружье в брезентовом чехле. Все ружья умерших братьев хранились у него.

— Ей вон в зиму одеть нечего. Большая стала, стыдно от людей.

— Ну, что ж, раз решила, — Егор знал, что слово Анны всегда твердое, — нужно спешить до снега по воде добраться. Я тебе все покажу, да рыбы на зиму поймать нужно. Кулемки обновить нужно, слопцы поправить... Приманку разложить.

Анна кивнула головой в знак согласия.

— Я там девчонкой с родителями была. Отец стрелять учил. Смутно все помню, — она поставила кружку с чаем на стол, задумалась.

— Лет-то сколько прошло... Я избушку другую поставил, та землянка завалилась совсем. Ледник там сейчас.

— А помнишь, как мы все вместе до самого снега там жили? А потом на оленях домой добирались, — Анна оживилась.

Они сидели тихим осенним вечером, пили чай и вспоминали те далекие годы счастливого детства. Егор был младше ее, Тихон и Спиридон, озорные карапузы, требовали постоянного внимания: глаз да глаз нужен за ними; Яшка совсем маленький в зыбке, подвешенной к потолку, все больше спал. А как проснется да заорет, его и качнет кто ближе. Егор, бывало, пнет его чуть не к потолку, Анна ругает, как взрослая, а того еще больше разбирает. Ждет случая снова бузнуть зыбку по-сильнее. Его беззаботность, мальчишеское озорство тогда вызывали зависть у старшей сестрички, хотя и у него были свои обязанности: дров принести, за малышами присматривать, да и мало ли чего нужно сделать, когда рук не хватает.

Придут отец с матерью вечером уставшие. Отец и спросит:

— Чем, доченька, кормить нас будешь? — а сам пока руки моет, рассказывает, как день прошел. Мама ему поливает, молчит. Нельзя хозяина перебивать. Хочется ей узнать, что ели малыши, не ревел ли Яшка, но молчит она, смотрит добрыми терпеливыми глазами на своего мужа.

— Ягоды насобирали с матерью в чистом бору, что за урманом, сетки проверили в старице: щуки поймались большие, — он раскидывает руки. — Парочку рябчиков добыл. А то все рыба да рыба. Ну, а у вас как тут? Мужички помогают тебе? — обращается он к старшей дочери.

— Помогают. Уху сварила, — Анна посмотрела на Егора, забившегося в угол.

Егор боится, что расскажет старшая сестра, как озоровал, но Анна не выдает его.

— Завтра слопцы насторожу, глухарь уже по утрам на пески выходит, — Афанасий вытирает руки. — Со мной пойдешь, Егорка.

— И я хочу, — опутив глаза книзу, говорит тихо Анна.

— Хорошо, доченька, — говорит мягко Афанасий и обнимает за плечи Анну. Она до сих пор помнит его теплые руки. Лицо вот стирается из памяти, а теплые сильные руки отца запомнились на всю жизнь.

Отец садится за маленький столик у крошечного окна, усаживает рядом Егора, малышей. Тесно в избушке. Мама хлопочет, на стол собирает. Достает масло, хлеб нарезает. Анна подает ложки, помогает маме расставить горячие парящие алюминиевые тарелки. Металл жжет руки, она ловко ставит на освободившееся место, отец подхватывает, ставит тарелку перед Егором, потом малышам Тихону и Спиридону.

— Ну, вы кушайте, а мне еще Яшку покормить нужно, — говорит мама, когда на столе все готово.

Мама берет на руки маленького Яшку, напоминавшего о себе все это время кряхтением и скрипучим криком. Надоело сидеть спеленанным

в зыбке. Почувствовав свободу, он размахивает руками, сучит ножками, улыбается, а припав к теплой материнской груди, замирает. В избе становится тихо, только ложки колокольчиками звенят да слышно, как чмокает громко Яшка.

Давно это было.

Последние воспоминания о родителях.

Последний год ее счастливого детства.

Глава XI

С трудом добирались на верткой казанке в верховье обмелевшей речушки. Винт на мелях хватает ил, мотор подбрасывает на коряжнике, но Егор умело регулирует скорость. Маломощный «Ветерок», — а Егор, зная о мелях, специально взял именно этот неприхотливый мотор, — потихоньку проталкивает лодку вверх поворот за поворотом.

Не узнала Анна сразу место. Подумала, может, не добрались еще. Все не так: изба какая-то стоит под кедром, там над обрывом навес новый — бревна еще не потемнели. Видно, этим летом слажен. Берег вроде ниже... Березы какие-то большие у самого ручья... Все не так.

Потом Егор показал старую землянку, поросшую сверху мхом, приспособленную теперь для ледника. Летом рыбу солит. Льду да снегу набрасает зимой: до августа хватает. Рыба хорошо

в холоде получается. Бочки в леднике стоят пустые. Недавно только освободил. Теперь на зиму заготовить нужно.

— Поможешь неводить. Бочки заполнить нужно, — Егор пошевелил одну, другую бочку.

Анна заглянула в ледник. Через маленькое окошко слабо пробивается свет.

— Неужто раньше жили здесь? И как помещались все?

— И я о том же думаю всякий раз.

— Даже крючок остался от зыбки. Яшка здесь... — она вспомнила того голосистого малыша.

Радостно зашлось сердце Анны. Она хотела еще что-то спросить, но подошел Егор, тронул ее плечо, прервав на полуслове. Не всю правду знала Анна. Не желая тревожить истерзанную душу сестры, Егор сказал ей в то скорбное время, что Яшка просто умер.

— Пойдем в дом. Чаю с дороги попьем, — голос его дрогнул, и Анне стало страшно.

Пространство в леднике сжалось, сдавило ее. Она, бросив последний взгляд на крючок в потолке, повернулась и заторопилась к избе. Больше она никогда не заходила в эту ставшую ей вдруг враждебную землянку. Она ничего не спросила Егора. Он тоже промолчал.

За три дня наловили рыбы, насолили на зиму, напилил Егор дров, поправил петли на дверях,

поправил кровлю, разложили приманку — рыбу вдоль ручья у слопцов. Егор все слопцы проверил и, хотя Анна умела их настораживать, рассказал подробно, как они срабатывают.

— Птицу, какую добудешь, перо разбросай возле слопца да протащи по снегу: зверь-то и заинтересуется, откуда перо да запах — сам придет.

— Знаю, отец говорил.

Вернулась Анна сюда уже по первоснежку. Дорога на снегоходе показалась не такою длинной. Несколько раз пересекали извилистый, во многих местах открытый ручей. Дух захватывало, когда на всем ходу мчались через большое болото. Анна смотрела на удаляющуюся полосу темного кедрача, на мелькающие низкорослые сосны, на неоглядную ширь белоснежного безбрежья и в сердце поселялось нежное щемление, глаза слезились от ветра и света. Снежная пыль, летевшая с двух сторон из-под полозьев нарты, гусениц «Бурана» и подхваченная встречным ветром, позволяла лишь изредка поглядывать вперед или по сторонам. Ей ничего не оставалось, как смотреть назад на извилистый бесконечный торный путь. Карай лежал рядом, уткнувшись носом в оленью шкуру. Нарты бросало на кочках в стороны. Анна и Карай уже привыкли к толчкам и не обращали на такие мелочи никакого внимания.

Легко скользят лыжи-подволоки — «нималь» по привычной хорошо наторенной лыжне. Каждое деревце ей уже знакомо, каждый взгорок, впадинка. Ноги сами бегут, глаза сами ищут означенные укромные места, руки привычно высвобождают из слопца попавшегося зверька... Но Анна думкою своею далеко... Руки ловко настораживают слопец. Карай тут как тут. Вертит хвостом — радуется. К приманке не подходит. Еще первым днем, настораживая слопцы, кулемки, капканы, она погрозила пальцем: «Не для тебя, для зверя еда-обманка». Пес повернул голову набок, посмотрел на хозяйку, словно что блеснуло в глазах. «Понял», — подумала Анна и уже не боялась, что попадет он в ловушку, поставленную на зверя.

Только на миг возвращается она к действительности, когда осматривает с восторгом соболька — второй сегодня. Удачный день...

И снова расплываются очертания темных, стоящих частоколом стволов кедров, исчезают звуки... Снова Яшка смотрит на нее детскими глазами:

— Прости меня, сестрица, не вынесло мое сердце. Война мне в душу заползла холодной змеей... Каждый день взрывы, автоматные очереди, душманы с перекошенными от злости лицами и кровь, кровь, кровь... Я не виноват, что попал в Афганистан, я не виноват, что остался

жив, когда, прижатые к горе, погибли все из нашего взвода. Только меня и друга моего Витьку нашли потом. Откопали нас, захлебывавшихся кровью погибших, из-под горы трупов. Витька из госпиталя сразу в психушку попал. Я выдержал, но как забыть, сестрица, такое.

Анна помнит, как рассказывал, будучи в подпитии, ее младший брат о той страшной войне. Из трезвого слова не вытянешь. Молчуном стал Яшка, словно немой. В каждом ему друзья-однополчане мерещатся. Стал вином раны заливать. В избушке дальней все время один жил. Одной рыбой питался. Охотиться не мог: кровь.

Понимаю... Ранила тебя та война в сердце, на душу-«лилель» наступила. Но как же я: ты ведь сыночком мне был. Я тебя с колыбельки выпестовала. Ты дарил мне радость, давал силы жить, когда опускались руки, когда не было сил терпеть, когда ноги не держали, руки не слушались, глаза не видели, уши оставались глухими. Ты держал меня, не отпустил в нижний мир...

Отрывисто залаял Карай, вывел из плена воспоминаний. Анна встрепенулась, руки сами сняли с плеча ружье. «Глухарь» — определила охотница по яростной взлайке, по тому, как кружился вокруг одинокой сосны на краю гривы пес. Она подошла ближе. Глухарь сидит на самой макушке сосны, вытягивая шею, следит за мотающимся внизу рыжим комком. Карай перебежал

на противоположную сторону сосны, отвлекая внимание птицы, отчаянно крутится на месте, яростно, до хрипоты лает, поднимая снежную пыль.

— Карай, иди ко мне, — Анна похлопала по прикладу ружья, — нам не нужен глухарь. Вчера только стрелили. Зачем зря птицу переводить. Оха! Оха! — громко крикнула она и махнула рукой.

Глухарь мгновенно расправил крылья и, обламывая мелкие ветки, скрылся за густой кроной. Анна потрепала загривок своего верного друга, тот лизнул ей руку и послушно побрел следом, наступая на лыжи.

Не надолго хватает ему терпения брести следом. Еле уловимый запах остановил его. Он повел носом, вытянул шею. Характерный звук чуть слышного шуршания окончательно убедил Карая в правоте догадки, и он стремглав ринулся вниз к ручью. Уже через минуту-другую слышен его голос в урмане. Короткая взлайка, тишина, снова взлайка без ярости, но настойчиво зовет хозяйку. «Белка», — мелькнуло в голове охотницы, и она ускоряет ход на голос.

Выстрел сухим треском расколол тишину. Мягкий снег не ответил эхом, поглотив звук разом без остатка.

Скоротечный зимний день перевалил свой экватор, солнце скользнуло холодными лучами

по кронам сосен, разлапистых кедров, рассекая белый снег длинными ровными тенями. Карай то рыскал вдоль ручья, то уходил в глубь гривы. Но непременно подбегал к Анне и, лизнув руку, снова скрывался из виду. «Проверяет», — подумала Анна и улыбнулась.

Вдруг Карай остановился как вкопанный. Он вытянул шею в сторону избы, до которой еще оставался длинный путь. Уши сошлись в напряженный треугольник. Анна остановилась, замерла. Оборвалась враз скрипучая песня лыж-подволоок. Установилась тишина. Откинув меховой капюшон, охотница тоже прислушалась, повернув голову и приставив к уху ладонь. Тревога противной тяжестью разлилась в груди, залезла куда-то глубоко холодной змеею. Сердце встрепенулось: изда- лека доносился звук работающего двигателя. «Это не «Буран» и не вертолет», — мелькало в голове, а ноги уже понесли ее в сторону избы, откуда до- носился этот противный чужеродный звук. Карай, звонко залааяв, бросился вперед и уже не пропу- скал вперед свою хозяйку до самой избышки.

Поднимаясь по наторенной лыжне, Анна не сводила глаз с огромной зеленой металлической лягушки, распластавшейся на высокой площад- ке рядом с избой. Грохот двигателя теперь оглу- шает все вокруг. Исчезла тишина, исчез покой, ничего не стало слышно, только это зловещее рычание. Синий дым спустился в распадок ручья,





гребенке!
суперхот и
у нас генер!
передайте про-
в поим-янные
не бабчан
помид мой год
люй перо
? 4 во врем

пошли не мимоте.
нигу от вас мне-
Вчера море у уезд-х красн-
Розовых сит-
море в

растянулся сизым и вонючим своим естеством с ровным, как под линейку, верхним краем вдоль березняка. От едкого запаха запершило в горле. Карай бросился вперед со взъерошенным загривком, отчаянно залаял, бросился в одну, другую сторону, как бы выбирая удобную позицию для атаки, но от Анны далеко не убегал, словно опасаясь оставить ее одну. Подскочил, лизнул ей руку и снова с лаем кинулся вперед. От машины-вездехода отделились две человеческие фигуры. Увидев собаку рядом с непрошеными гостями, Карай ошетинился и зло зарычал. Анна подошла совсем близко, успокоилась. Пришельцы, одетые в камуфляжную форму, поздоровались:

— Здравствуй, хозяйка.

— Здравствуйте, — сказал тот, что держал собаку.

Анне понравилось, что гости поздоровались первыми, что назвали ее хозяйкой.

— Здравствуйте, — тихо сказала Анна, прошла к избе, сняла лыжи, поставила ружье, сняла рюкзак, подаренный сыном.

Спокойствие хозяйки передалось собаке, и Карай сел у ног Анны. Собака незнакомцев — серая лайка тоже успокоилась. Карай вытянул морду, принюхиваясь к новому запаху. Помахивая своим роскошным рыжим хвостом, он приблизился к гостям. Собака пришельцев, натянув поводок, оскалилась.

Теперь только Анна поняла, почему Карай повел себя так дружелюбно.

«Подружку нашел. Тоже молоденькая. Год, однако, не больше», — Анну снова что-то встревожило.

— Мы тут чаю без вашего ведома попили, перекусили...

— Попили, так попили... Что тут такого, сейчас еще чаю поставлю, — перебила Анна. Она уже поняла, что они были в избе, и ей понравилось, что сами сказали.

Ее ничуть не удивило, что чужаки зашли сами в избу, пили без нее чай. Люди в тайге живут по своим законам. Путник, охотник ли, набредший на избу в тайге, зайти, согреться чаем. Помыслы были бы чистыми.

Анна зашла в избушку. Поставила на горячую еще печку чайник, кастрюлю с супом из рыбной муки — «тюнь», сваренную утром, подкинула пару полешек. Потом достала испеченные вчера в золе хлебные лепешки — «поруй-нянь», нарезала длинными полосками. Обычно она ломала руками, но сегодня гости. Достала масло, расставила кружки. Их оказалось в избушке как раз три. Кружки вымыты, перевернуты вверх дном. «На место поставили», — Анна заметила и то, что на столе порядок и что ее продукты не тронуты.

— Заходите в избу, чай пить будем, — сказала Анна, выглянув из двери.

Зашли сначала те двое, которых видела Анна, следом, низко сгибаясь, сутулясь, вошел третий с большими черными усами, смешно свисающими до подбородка. Анна и на этот раз не удивилась: на снегу она различила три разных следа.

— Добрый день в вашей хате, — пробасил долговязый.

Мужчины сняли верхнюю одежду, подсели к столу.

— Суп из рыбной муки кушать будете? — спросила Анна, а сама уже поддела вареву разливной ложкой.

— Никогда не пробовал, — потер ладошки тот, что называл Анну хозяйкой. — Доставай, Леха, наши харчи. Ставь на стол, доставай... — он замялся, посмотрел на Анну вопросительно. «Начальник», — определила Анна.

— На меня не смотрите, доставайте, — Анна расставила алюминиевые тарелки с рыбным варевом. — Кушайте, а у меня еще работа есть.

Она внесла рюкзак, вытащила тушки двух соболей и с десятков белок, разложила на полатах за печкой. Пусть размораживаются. Еще ведь шкурки снять нужно. Мужчины замерли, все трое замороженно следили за Анной. Поймав на себе их взоры, Анна, словно оправдываясь, сказала:

— Три дня, однако, не ходила: метель шибко разгулялась.

— С собачкой добыла все? — спросил «начальник».

— Без собаки-то что в тайге делать? — Она посмотрела на лежащего у порога Карая. Все трое тоже повернули в его сторону свои головы. Долговязый качнул одобрительно головой, цокнул языком. Анне показался его взгляд недобрый.

— Хорошая собачка, — сказал он.

Анна насторожилась. Не понравилось ей, что хвалят ее собаку и смотрят так, словно товар покупают. Сердце екнуло.

— Собака как собака, — с деланным равнодушием сказала охотница.

— Выпьешь? — спросил снова «начальник», протягивая кружку.

— Я не пью, — коротко ответила Анна.

Мужчины долго не задержались. «Начальник» торопил своих сослуживцев. Они оказались теми самыми нефтяниками, о которых столько уже слышала Анна. Первый раз видела настоящих нефтяников. Из рассказа она поняла, что они проводят какую-то разведку.

— Геологи что ли?

— Сеймики мы.

Анна не слышала про таких, но расспрашивать не стала. Геологи, нефтяники, сеймики: она все равно не разбиралась в тонкостях. Все они для нее нефтяники. Каждый свое дело делает. Что тут разбираться. У нее свои заботы-хлопоты, у них — свои.

Кончились первые настоящие морозы. Анна упаковала свой скарб, собралась домой. Быстро время пролетело. Удачная охота получилась. Егор приехал и удивился, что сестра готова к отъезду, будто ждала именно сегодня.

— Я уже неделю жду, когда морозы кончатся...

— И мешки неделю на улице лежат? — спросил Егор, стряхивая с малицы плотно прибитую снежную пыль.

— Сегодня утром вынесла.

Анна перед отъездом вошла в избу, сняла привезенную с собой иконку Николы-Торума, протерла рукой, поцеловала, положила в карман вещмешка, вышла на улицу, поклонилась избушке.

— Хорошо мне было, — прошептала тихо. Да и как не хорошо: ни одного приступа за все время, удачно зверя промышляла, всегда огонь Матерь согревала ее в мороз и стужу.

Потом села в нарту рядом с Караем, успевшим уже пригреть себе место, и двинулись в путь. Домой.

— Вот скажи мне: как могла она знать, что я в тот день приеду? — Егор посмотрел мне в глаза, подлил кипятку в кружки.

— Ты же сам сказал: морозы кончились — ты и поехал. Она так же сориентировалась: морозы кончились — вот и ждала.

— Не-е-е-т, — протянул Егор, покачав головой. — Она старика ночью видела, он ей сказал: домой поедешь.

Я не стал продолжать спор. Воспитанный в духе материализма, я бы поспорил с кем-то, но рассказ Егора пленил мое сознание необыкновенностью, но еще более странным показалась мне та непосредственность, с которой Егор объяснял происходящее. Конечно же простыми совпадениями все не объяснишь. Но мне не хотелось вдаваться в пустопорожние доказательства невозможности точного предчувствия, в безнравственные изобличения чудесных предзнаменований. Я начал понимать, что не все в этой жизни возможно разложить на атомы и молекулы, не все в нашей жизни взвешивается самыми точными весами, не все удастся увидеть в самые мощные микроскопы, не все слышимо даже самыми совершенными акустическими приборами. Существует еще нечто, что подвластно только человеческому духу, сцеплению мыслей и образов, ничего общего не имеющего с рациональным и расчетливым рассудком.

— А что ты скажешь на то, — завелся уже Егор, уязвленный моими сомнениями, — что Анна знала, что те нефтяники ее Карая украдут? Она сразу почувствовала. Сколько раз повторяла: «Злыми глазами посмотрел тот длинный на Карая, ой плохо это! Украдет — грех на душу

возьмет». — «Как же, — говорю, — украдет, если он от тебя ни на шаг не отходит?» — «Так он каждый вертолет встречает — Полинку ждет, каждый катер — Ромку выглядывает. А на привязи он умрет и я за ним... Так и так конец получается...». Плачет и приговаривает: «Полину жалко, доченьку. Тяжко ей будет».

Глава XII

— Пожелала Анна, чтобы сватали дочь по-нашему. Меня попросила посаженным отцом быть, — продолжил Егор после паузы, смахнув слезу. — С Агана человек прилетал, Ананий Кадамкин — сват — «ур-ку» вертолетом от жениха, спрашивал меня как да что, может какие обычаи наши не сходятся с тамошними. Все ему рассказал. «Весной ждите, — говорит, — по насту приедем», — Егор не спеша прикурил сигарету, попыхтел, попыхтел, улыбнулся и повел рассказ дальше.

На двух «Буранах» и оленьей упряжке прибыл жених — «май-ку» — со своей родней и сватом. Анна уже знала этих людей. Полина рассказывала о своем женихе Алексее, о родне его. Отец Алексея Валентин Тылнин знатный охотник, свое родовое угодье имеет. Нефтяники квартиру в городе предлагали — отказался: «Оленей куда дену? Дед мой оленей держал, отец здесь живет, и я буду

на этой земле жить, где дед похоронен». Люди говорят, хороший человек.

Привязали они упряжку оленью на краю селения, «Бураны» там же с нартами, груженными разным добром: свататься приехали. Рога оленьей ленточками украшены, на «Буранах» ленты на городской манер через капот.

— Петявола — здравствуйте. Мир Вашему дому. Хатлан хатл пила — вместе с солнечным днем! — поприветствовал хозяев вошедший в дом Ананий. Он низко поклонился Анне, Егору. Егор узнал его, но виду не подает.

— Петявола, петявола! — ответил Егор.

— Петявола, — тихо сказала Анна.

— Пришел спросить человека — «касы», люди говорят, есть у вас человек, — уже начал свою игру «ур-ку».

Егор с Анной переглянулись, но ничего не ответили: не поняли, мол, о чем речь. «Ур-ку» постучал по полу своим черемуховым посохом — «сог-юх», повернулся и вышел.

— Молчат люди, — с деланной серьезностью сообщает он «новость» жениху.

— Иди еще спроси, — отвечает отец жениха Валентин.

Снова заходит в дом «ур-ку». Еще ниже кланяется он Егору и Анне.

— Пришел человека спросить, есть ли у вас человек? — говорит Ананий игривым голосом.

Молчит Егор, молчит Анна, недоуменно пожимая плечами. Побежал обратно «ур-ку». Детвора на улице — следом, снежками бросают, смеются. Все взрослые в селении тоже на улицу вышли. Слухом земля полнится. Знают, что Полину сватают: красивая невеста. Жених издалека — с Агана. Редко теперь на оленьих упряжках в селении появляются. Народ вокруг оленей крутится: хорошие олени, ухоженные, упитанные.

— Молчит отец, молчит мать невесты, не знаю что нужно, — снова говорит сват жениху и его родственникам.

— Вино возьми, какой ты недогадливый. Кто же без вина за невестой ходит? — Валентин вручает бутылку водки и отправляет свата снова в дом невесты.

— Пришел человека спросить. Есть ли человек? — спрашивает он, низко кланяясь, и ставит бутылку на стол. В избе восстановилась тишина. Слетела игривость и все напускное с лица «ур-ку». Все решится сейчас. Примут угощение или нет...

— Вот теперь мои уши слышат тебя, человек с дальней стороны, — говорит Егор. — Садись, дорогой гость, чай пить будем.

Анна поставила на стол строганину, мясо добытого Егором глухаря, стопки. Подняли наполненные стопки мужчины, выпили. Сват побежал радостный через все селение:

— Нашли человека, здесь живет невеста — «май-ни»! — громко кричит он. — Давай подарки, «май-ку». Отцу подарки, матери подарки, пока не передумали, — обращается Ананий к жениху весело.

И уже с подарками возвращается в избушку под хохот ребятни.

— Вот тебе, Анна, от жениха, — разворачивает он большой цветастый платок, — а тебе, Егор, шкуру выдры.

Понравился Анне платок, понравилась шкура Егору. Усаживают гостя за стол, наливают по чарке.

— Ты поешь, Ананий, а то не выдержишь до конца, — говорит Анна, подкладывая кусок глухариного мяса.

— Теперь выдержи, не впервой, — отвечает веселый Ананий, закусывает основательно. — Где же невеста? — спрашивает он.

— Такая она у нас неряха, ничего не умеет делать. Шить начнет, только пальцы исколет. Сварит суп — даже собака отказывается, — говорит для порядка Анна. — Нужна ли такая невеста?

— Мы знаем, какая мастерица Полинушка, знаем, как вкусно готовит: добрые люди рассказали, — разубеждает сват.

Снова бежит Ананий к жениху, рассказывает, какая «неумеха» его невеста.

— Скажи, что нужна она мне и такая.

— Жених говорит, что согласен он взять такую невесту, — сообщает он Анне и Егору волю жениха.

— Растеряха она у нас: пойдет дров принести — рукавицу потеряет, станет посуду мыть — перебьет всю. Как отдавать замуж? Бить будет муж такую жену, — говорит Егор.

— Не будет бить. Хорошая хозяйка наша невеста. Знаем, люди хорошо говорят, — отвечает Ананий и снова опрометью к жениху.

То бедность невесты, то еще какой изъян Егор с Анной найдут у своей Полины. Ананий уверяет в противном, каждый раз выпивая рюмку. На шестнадцатый раз Анна говорит уставшему и уже подвыпившему свату:

— Зови всех, замерзли, поди, на улице. Брюхо погреть пусть котел поставит жених и два оленя, двести белок, три выдры и два платья пусть готовит.

На лице «ур-ку» появляется настоящая улыбка: дело сделано. Не зря он старался, хлопотал. А выкуп давно уже оговорен с Егором и с собой имеется.

— Устал я, Алешка, — говорит он наконец жениху, — неси калым!

Пока собирают меха в узел, мать Алексея Зоя и Валентин, отец, отряхивают малицы, приводят себя в порядок, не спеша направляются делегацией в дом Анны. Следом за ними уже слегка

пошатываясь, несет калым Ананий. Старший брат Алексея с другом закололи оленя, развели костер, поставили большой котел на огонь. Народ, увидев дым от огня, заслышав, что мясо оленя уже варится, подтягивается к дому Анны. Давно не сватались в селении по-настоящему.

Невеста уже в доме.

Гости поздоровались и не торгуясь достают шкурки, складывают на комод в углу: связки белок, шкуры выдры, отрезы на платья. Анне понравились и Валентин и Зоя своей основательностью, несуетливостью.

— Вот невеста, — показывает на стоящую в стороне Полину Анна. Глаза у Алексея загорелись, но он остался на месте. — Садитесь рядом, — показала она молодым на шкуру оленя. Они сели на одну шкуру за маленький столик, на котором стоял уже заваренный специально для них чай в маленьком чайнике и две кружки. Гостей позвали за стол продолжить разговор.

— Дети наши давно знают друг друга, — начала Зоя, кивнув в сторону молодых. — Мы издавна приехали, так что свадьбу сегодня сыграем, наверное, — она пытливо посмотрела на Анну.

— Сегодня и сыграем, — согласилась Анна.

И начался пир. Все люди селения пришли. День теплый выдался. Кто на улице устроился, кто в избе. Песни полились над старым Вахом, пляски пошли полным ходом. Веселится народ.

Увезли на третий день невесту.

Усадила Анна сама Полину на нарты, вернулась в дом за женихом:

— Пора тебе ехать, отец-мать ждут, солнышко уже высоко, дорога дальняя.

Провожала Анна свою доченьку с легким сердцем: добрые люди эти Тылнины. Знала, что не будет терпеть обиды от мужа своего Полина. Помогите вам, Боги небесные, прожить долгую и счастливую жизнь. Народите детей на радость себе и нам, родителям вашим.

И снова жизнь Анны вошла в привычные берега. Только Полина приезжает теперь от случая к случаю, а не по привычным для нее каникулам. А Карай так же, заслышав вертолет, стремглав летит на посадочную площадку, так же встречает все пристающие к пристани катера и самоходки. Так же и Анна ходит почти каждый день на могилки — «ленкаса-яга-пугол» — юрты покойников. Только там она может поговорить с усопшими. Она слышит их голоса, задает им вопросы, они отвечают. Они спрашивают ее, и она говорит: «Все хорошо у нас, только вас нет рядом». Отрешаясь от всего земного, в эти минуты она проживает те давно минувшие дни заново. Много дум передумала в такие минуты. Карай не отстает, а уж если нужно пробежаться, ноги размять, лизнет руку: только его и видели. Прибежит, снова лизнет, в лицо хозяйке посмотрит — все ли в порядке?

— Бегай сколько хочешь, только не ходи к вертолету, плохие люди есть, — который раз повторяет она своему верному другу.

Глава XIII

— А потом все рухнуло. Все — враз, — Егор посмотрел на меня влажными глазами, прикурил очередную сигарету, тяжело вздохнул, словно собирался преодолеть последний, самый сложный барьер. — Мне сказали, что Карая увезли вертолетом. Какой-то высокий усатый мужчина. Он с собакой выходил с сучкой в охоте, видимо, и Карай прыгнул за ней в машину. Это прошлой осенью случилось. Сын Полины Сережка как раз в первый класс пошел... Анна слегла. Долго, однако, болела. Никого не пускала к себе. Принесу ей рыбы, хлеба да так чего-нибудь покушать: молчит. Что ни спрошу — молчит. — Только один раз сказала, заливаясь слезами: «Белого Старика видела...» — «Что, — спрашиваю, — сказал старик?» — «Не буду говорить, не хочу злых духов тревожить». Ни слова больше от нее никто не слышал. Молча ходила на кладбище. Худая стала. Откуда силы только брались. Рыбки немного настругает, чаю попьет — и вся еда. Как морозы установились, дома затворилась. Пришел как-то к ней, а ее нет дома. Изба уже холодная, ночью не

топилась. Следы все замело: всю ночь метель гуляла. Соседей спрашиваю: не видел ее никто. Я «Бураном» все объездил, никаких следов не нашел. В сторону кладбища не один десяток раз смотался, все напрасно. Людей поднял, все прочесали, как в воду канула. До Полины весть недобрая дошла, бросила она все, примчалась. «Искать, — говорит, — маму буду». — Егор уже не мог владеть собой, он вытирал слезы рукавом, часто останавливался, собирался с силами, продолжал дальше. Ему нужно было выговориться. Нет сил держать в себе столько нерасплесканного горя и неизлитых страданий. — «Где же, — спрашиваю, — искать будешь, если я уже каждый метр обшарил?» А она все свое: «Искать маму буду». Мы с ней по-новому все прочесали — все напрасно.

Полина поселилась в своем родном доме, где все напоминало ей о маме, каждая вещица возвращала ее в беззаботное детство, но душа не находила покоя. Приходили односельчане, пытались успокоить, утешить ее. Соседка, поселившаяся в доме умершей Ефросиньи, как-то принесла вина. На время ее горе отступило. Утром болела голова, тошнило, но то ощущение вчерашнего вечера она запомнила.

На лыжах-подволоках, взятых у Егора, Полина упорно обходила окрестности уже не один десяток раз.

Егор узнал от людей, приехавших из Ларьяка, что видели Карая, бродившего у школы-интерната. Сбежал от своего невольника. От еды он отказывался. Потом его видели в стойбищах. Охотники рассказывали, что находили странные следы в далеких урманах не то волчьи, не то собачьи. Егор не сомневался, что это были следы Карая. Направление следов указывало на то, что собака направлялась в сторону их селения.

Не нравилось Егору, что Полина стала выпивать со своей соседкой. Соседка, одинокая женщина, потеряла семью из-за пьянки. Пытался пожуричь Полину, но та уже не прислушивалась к его словам.

— Я сама знаю, что мне делать, — грубо обрывала она его нравоучения. — Ты маму найди, а не учи меня, — словно укоряла его, говорила племянница.

Уже первая капель напомнила о приближающейся весне, хотя на календаре-то давно уже весна. Наст окреп, и Полина могла больше обходить на лыжах. Она сначала шла пешком по наторенной буране, затем надевала лыжи и обходила все небольшие гривки, бороздила болота вдоль и поперек. Днями теплело, подтаивал снег, налипал на лыжи, и она прекращала поиски. Вечером приходила подружка...

Тот день начинался обычно. Полина прошла по буране больше, чем вчера. Она каждый день

прибавляла к предшествовавшему пути. Остановилась, решая куда направиться сначала. Ноги понесли ее сами. Только у самой гривы она стала всматриваться в снежные наносы на пеньках, наклоненных стволах деревьев, некоторые коряги уже освободились от снега. Редкие тени низкорослых сосен по краю гривы распятнали снежную равнину разнообразными узорами. Мысли запутались в кружевах.

Вспомнился сон, что приснился под самое утро: долго пробиралась на лыжах через высокие горы. Луна сменяла солнце, а она все шла и шла. Ни птиц ни зверей не встретила она на своем пути. Скалы отвесные стоят по сторонам. Лица стариков на скалах по обе стороны смотрят на путницу. Поклонилась им Полина, дальше пошла. Так долго она меж скал петляла — дорога долгая, как вышла на большую поляну. Свет серебряной рекой течет полноводной, а посредине юрта золотая стоит и возле юрты белый старик Алли-ике. Лицо у него доброе, знакомое Полине. Присмотрелась — лицо отца с той фотографии смотрит на нее, только борода седая.

— Маму ищу, — говорит Полина. — Не скажешь ли, в какой стороне искать?

— В ту избу иди, дальнюю, — махнул рукой старик. Еще что-то сказать хотел старик, но проснулась Полина.

Опамятовалась от видения Полина, смотрит: идет уже по краю гривы вдоль ручья. Бывала она когда-то здесь с Егором. Она знает, что в верховьях ручья избушка есть. Угодья деда, а теперь Егора. Рассказывал как-то, что мама там охотничала. Она шла по высокому месту. Внизу занесенный снегом ручей, справа чистый сосновый бор, в глазах рябило от теней и солнечного блеска. Чувства ее обострились, что-то заставляло всматриваться в каждую тень. На пригорке снег уже подтаял, местами обозначились углубления вокруг деревьев, обнажая зеленый брусничник. Вдруг ее привлекла какая-то коряга у самого распадка. Сердце затрепетало, ноги побежали... Она остановилась как вкопанная: из-под снега виднелась рука, державшаяся белыми восковыми пальцами за вывороченный корень. На среднем пальце Полина увидела знакомое серебряное кольцо. Брызнула в глазах яркая вспышка, оборвалось внутри, Полина отпрянула в сторону, побежала в глубь гривы. Из-под самых лыж из снежной глубины, громко хлопая крыльями, разбрасывая снег, поднялась копалуха и, набрав высоту, развернулась, протянула вдоль ручья, уселась на верхушке сосны недалеко от того страшного места. Полина, словно зачарованная, не сводя глаз с птицы, тихо переставляя лыжи, приближалась к той сосне. Копалуха с лицом матери не шевелилась. Мама смотрела на нее, и слезы капали из ее

неподвижных глаз на снег большими каплями, гулко ударяясь о твердый наст. Большой стала птица. Полина уже различала ее крепкие лапы, обнимающие толстую ветку человеческими пальцами. На среднем пальце — серебряное кольцо...

— Мама! — крикнула громко Полина. «Мама!» — эхом отбилось от противоположного берега. «Доченька моя! Доченька моя!» — дробилось по бору.

Копалуха широко распахнула крылья, закрыла солнце.

Света не стало.

Холодом дыхнуло в лицо.

На время все исчезло.

Полина раскрыла глаза. Кроны высоких сосен беззвучно висели в вышине. На лице растаял снег, смешавшийся со слезами.

Улетела душа мамы.

Куда улетела?

Встала Полина пошатываясь, отряхнула лохмотья снега и побрела домой, не замечая ничего вокруг.

— Душа Анны в нее вселилась, — сказал после паузы Егор. — Сама не своя стала. У нее в глазах огонь погас. Совсем другие стали глаза. Похоронили Анну рядом с Яшкой, по другую сторону — Ефросинья. Сама выбрала это место. Полина, как и Анна раньше, — не плакала.

Чернее земли лицо сделалось. К мужу она больше не вернулась. В доме Анны жила. Алексей приезжал, упрасивал. Вместе с сыном приехал, отмахнулась: «Уходите, маму искать буду!» — «Похоронили маму», — говорит ей Алексей. «Нет, — говорит, — она ушла в избушку. Мне отец сказал. Искать ее буду». А весной Карая нашли в зимовье. Все сухари съел. Столько голодом бродил, ни из чьих рук еду не брал. А тут родной дух. Не выдержал желудок... Не дотянул он до селения... Нашли его под навесом. Вот так... К нему она шла... Она знала, что ее Карай в избушке, а ты сомневаешься... С тех пор вот и ищет маму Полина. Она и в Новоаганске у брата была, и в Ларьяке искала, вот в Нижневартовске уже второй раз. Год уже бродит как неприкаянная. Только про избушку не вспоминает. Бойтся чего-то.

Егор покачал головой, достал фотографии. Я отметил, что Полина походит на свою мать. Пообещав, что завтра утром отвезу в аэропорт, я попрощался.

Желающих вылететь вертолетом было значительно больше, чем посадочных мест, поэтому давка образовалась невообразимая. Вышла из диспетчерской знакомая уже мне Валентина:

— Сегодня борт заказан для детей. Группа детей летит из дома отдыха, так что возьмем толь-

ко шесть человек, — объявила она не терпящим возражения голосом. И она прочитала список. Егор и Полина значились в числе счастливиц.

После этих слов люди безропотно собрались обратно в гостиницу. Тихо, без лишних слов, без ругани и скандалов. «Ну что поделаешь — в субботу улетим».

Привезли детей. Они дружной стайкой вышли из автобуса, сложили свои сумки, пакеты в кучу. Видно было, что они уже привыкли к переездам и действовали довольно организованно. Руководитель группы, молодая воспитательница, громко скомандовала:

— Далеко не расходиться. Оля, — обратилась она к девочке постарше, — посмотри за порядком. Володя Кунин, вернись обратно! — крикнула она озорному мальчугану.

Среди детей оказался и сын Полины Сергей. Она подошла к нему.

Она не обняла его, не расцеловала, как делает любая мать после долгой разлуки с ребенком.

— Сережка, дай мне соку, я уже неделю ничего не ела, — как-то развязно сказала она и попыталась взять из его рук пакет.

Сережка отдернул руку, повернулся к ней спиной опустив голову. Он стеснялся своей матери.

— Ты мне сын или не сын, — снова требовательным тоном обратилась она к мальчику

и снова попыталась взять сок. — Вот найду твою бабушку — все ей расскажу, — по-детски обиделась Полина.

Я наблюдал за ними. Мальчишка убежал от нее, сел на дальнюю скамейку. Полина подошла к нему снова. Мне из машины не стало слышно их голосов. Но мальчик снова отбежал в сторону. Полина осталась сидеть. Я видел только ее спину. Она низко уронила голову. Плечи ее вздрагивали. Сережка постоянно наблюдал за ней, не сводя глаз, но что-то сдерживало его.

Но вот он осмотрелся вокруг и, поняв, что каждый занят собой и никому нет до него дела, тихонько подошел к своей маме и протянул ей сок.



Боль

Здравствуй, отец! Так и не сбылась твоя мечта еще раз ступить на Сибирскую землю, увидеть это знакомое тебе низкое небо, окинуть взором необъятные просторы, почувствовать через много лет эту широту пространства и мощь северной природы. Однажды ощутив крепкие объятия этого приветливого, вольного и щедрого на богатства края, ты через всю жизнь пронес особое неповторимое ощущение величия своей страны.

Вместе с инструментальным заводом ты, детдомовец, эвакуировался в Новосибирск. Это по здешним меркам рядом, вот в той стороне вверх по Оби. Сутки на «Ракете». Отсюда эшелонами шли на фронт снаряды и патроны, пушки и зенитки. Потом на

фронте, получив ящик с боеприпасами, ты непременно всматривался в номер завода и, если попадался знакомый, приговаривал: «Сибирское угощение» — и гладил каждый снаряд, прежде чем послать его в ствол сорокапятки.

Отсюда Сибирь провожала тебя на фронт. Твои друзья по цеху тоже, как и ты, записались добровольцами, поэтому провожать вас никто не пришел. Каждый доброволец ставил на алтарь Победы свою жизнь добровольно. И здесь нет пафоса. Так было. Я это помню генетически. Для меня и сейчас «доброволец» — не просто слово.

Оно имеет лицо.

Твое лицо.

Лицо миллионов таких же, как и ты.

Завтра 9 Мая. Открылась весенняя охота. Я сижу в скрадке. Еще днем заметил это место на мысу. Обзор что влево, что вправо... Меж густых кустов ракитника выстелил прошлогодним сеном место, вроде гнезда. Делал на двоих. Друг со мной собирался — сосед по даче. Но он отказался. Телевизор смотреть будет: сериал какой-то.

— Телевизор на даче штука вредная, — раздосадовался я поначалу.

Вот мы с тобой и беседуем. Тишина здесь. Ветер к вечеру утих, солнце спряталось за тучи, сгустившиеся на западе слоистым пирогом. Стало смеркаться, но дни здесь в мае длинные, су-

мерки еще долго будут тянуться серой сыростью и прохладой, так что вся охота еще впереди. Скоро лёт утки начнется. Я тут слева на отмели чучела поставил — гоголей в весенней раскраске. Вон как белыми пятнами красуются. Тихо. Не шелхнутся.

Сейчас, погоди, огурчик разрежу пополам. Стопки поставить нужно, чтобы не мешали...

Ружье должно быть под рукой. Лишние движения в скрадке делать не полагается. Вот так! Теперь нормально. Удобно вскидывать. Так. Влево, вправо. Все пространство простреливается. Отлично...

Да! Где-то в белорусских лесах ты так же придирчиво и осторожно, боясь нарушить тишину, готовил себе огневую позицию и так же через мушку автомата просматривал с опушки леса лежащую перед тобой деревушку. Окапывали вместе с боевыми друзьями на выбранной высоте сорокапятку. Сколько сил забирала эта опротивевшая пушка. «Прощай Родина» в шутку прозвали вы ее за то, что в неравных боях с крестоносными танками погибали артиллеристы целыми расчетами.

Где-то на такой опушке ты не успел похоронить своих товарищей.

На три месяца для тебя исчезли все звуки.
Твою голову разорвала невыносимая боль.

В госпитале ты молил Бога о смерти. Но Бог не спешил прислушаться к твоему стону, тебе судьбою было начертано полюбить, родить троих сыновей... и часто вспоминать тот взрыв.

Я помню такие минуты, когда мама закрывала плотными шторами окна, а ты, стиснув зубы, кричал в подушку. Ты не хотел, чтобы мы слышали этот леденящий душу крик, ты не хотел казаться слабым. Мама выгоняла нас на улицу. Но мы, твои дети, все понимали... и ходили вокруг дома с круглыми от ужаса глазами. Эти глаза выхватили ту вспышку из плотного, пахнущего порохом и потом воздуха в тот злополучный миг. Эти глаза видели последние конвульсии твоих товарищей, эти глаза заглядывали в ствол вражеского автомата... Тогда мы смотрели на мир твоими глазами.

А помнишь, когда мы тебя просили рассказать о войне, ты отмахивался: «О войне нечего рассказывать, ее нужно просто забыть». Ты часто вспоминал только тот светлый миг, когда кто-то ворвался в казарму под Кенигсбергом и громко выкрикнул самое сладкое слово — Победа! Слово, которое вы слагали по буквам своим ратным трудом долгие четыре года. И как в нижнем белье все бойцы выскочили на улицу, устроив часовую канонаду. Мне кажется, я там был. Мне кажется, я все видел. Я так отчетливо помню эту картину. Это раннее весеннее утро, эти крики ли-

кования, всеобщего веселья. Я даже помню, как ты потом незаметно ушел в казарму и не мог найти себе места — приступ. И как ты потерял сознание, и как кто-то скомандовал не стрелять. А потом ты сидел по вечерам, уставившись в заклеенное накрест окно казармы, и думал, как несправедлива судьба. Ты, просивший на передовой смерти, остался жив, а Сашка, которого ждала беременная жена, погиб за несколько дней до конца войны, до Победы. Ты сидел, курил самокрутку и понимал: тебя во всем свете никто не ждет, никому ты не нужен.

Ну, да ладно, отец, что это я о грустном... Нужен ты стал маме, нам... детям, которых учил уму-разуму.

Давай поднимем стопки за тех, кто положил животы свои, «приближая День Победы, как могли», за тех, кто еще здравствует. Ну, давай, не чокаясь... помянем...

Тихо... Смотри, вон пара налетает. Видишь, сели прямо напротив. Кряковые. Ружье. Ах ты, селезень, наглец. Еще круги не разошлись на водной глади, а он уже приставать к «даме». Кря, кря! — басовито так протягивает. Кря, кря, кря, — высоко мельчит его подруга и гордо плывет, как будто пытается убежать. Нет, стрелять нельзя. Весна! Любовь! Ухаживания продолжают долго. Посмотрим... Селезень следом. Кря!

Кря, кря! Кря! — басом. Кря, кря — завлекая суженого, отзывается утка. Действует. Он словно нитка за иголкой — туда-сюда. Вот она подплывает к льдине и с ходу забирается, ловко подмахивая крыльями. Точно так же, со взмахом, опираясь крыльями о плотный весенний воздух, забирается на льдину и селезень. Он красивый: с зеленым отливом голова, четко очерченная линия на шее, светлая, отливающая закатным розоватым светом грудка. Даже завиток на хвосте виден. Она же, серенькая, невзрачная, остановилась в ожидании, высоко подняв вытянутую шею, взмахнула крыльями, словно потянулась после сна. Селезень, почувствовав твердь под ногами и переваливаясь с боку на бок, подбежал и запрыгнул на спину серенькой своей подружки.

А вот еще подлетают: пара, другая. И снова играют в догонялки. Заметил, как потемнело? Уже десять часов. Залетали, залетали.... Вот он, лёт утки в полном разгаре! Снова пара падает рядом с чучелами.

Пусть себе летают, а мы поговорим...

Мы так мало с тобой общались.

У тебя работа, дом, хозяйство.

У меня свои дела, друзья, учеба, работа.

— Сын, как у тебя там дела, как науки твои? Экзамены?

— Нормально, пап, все ладом. Голова болит, отец?

— Бывает, но уже привык. Вот выучишься — вылечишь, — отшучивался ты.

Вот и весь разговор.

Выучился, но не вылечил...

Тебя удивит, что я знаю то, о чем ты никогда не упоминал при нас. Придется покаяться в одном грехе: я подслушивал вас с дядей Петей — Петром Климентьевичем, твоим свояком. Сначала получилось случайно — само собой. Отрапортовали парадные речи, отswerкали глаза пионеров, отзвенели искренние колокольчики детских голосов на праздничных встречах, посвященных Великой Победе.

Вы сидели с ним на веранде — два фронтовика, выпивали за Победу, «за тех, кто остался...» Я даже помню бутылку водки на столе. То была «Московская» с такой зеленой этикеткой. Помнишь?

— Слушай, Леня, что я тебе скажу, — начал как-то полусшепотом дядя Петя, — никто не должен знать то, что сейчас услышишь, ни Лена твоя, ни тем более Аннушка моя. И вообще никто. Ты уже знаешь, что под Берлином меня изрешетило осколками. Достали из моего тела двенадцать железок, еле выбрался из того света.... Да видно ненадолго.

— Что ты болтаешь? Выжили — значит, будем жить.

— Не знаешь ты главного: во мне прямо под сердцем сидит еще один осколок. Его вытащить так и не смогли. Место недоступное. Я неделю назад в Киеве был, обследовали меня мои коллеги и сказали, что можно сделать операцию, но шансы меньше чем пятьдесят процентов. А этот осколок в последнее время все чаще и чаще дает о себе знать. Колет, как будто нож кто вонзает. Один из приступов может оказаться последним... У тебя голова — у меня сердце. Каждый свою боль носит. Как врач я понимаю: недолго мне осталось... — Он обнял тогда тебя и после паузы сказал: — И тебе с твоей контуженой головой тоже не век жить...

Я тогда впервые увидел мужские слезы, я впервые слышал дрожащий голос сурового на вид дяди Пети. Я носил эту тайну, как тяжелую гирю. Я не мог никому поведать то, что знал. Это было невыносимо. Я стал смотреть на дядю Петю другими глазами и удивлялся, как просто ты умел хранить эту тайну и по тебе ничего не заметно. Я же здоровался с тетей Аней торопливо, боясь, что она спросит: «Что ты скрываешь от меня? Скажи, я ведь все вижу». Старался реже попадаться на глаза дяде Пете. Вдруг он подойдет, потрепет волосы, как он любил делать, и скажет: «Нехорошо подслушивать. Держи язык за зубами, сынок».

И я держал.

А через два года дядя Петя умер.

Ему исполнилось сорок два.

И ты не век прожил....

Пятьдесят девять — это разве возраст?

Затем я подслушивал ваши разговоры нарочно. Я терся рядом с вами, по несколько раз лазил в ящик стола, будто что-то искал, ронял какой-то винтик и ползал под столом, стульями. Уши, как локаторы, улавливали каждое слово. Ты ведь помнишь? Тебя еще это раздражало, ты пытался меня прогнать с веранды, но я снова находил повод зайти, и вы с дядей Петей уже не обращали внимания на мое «случайное» присутствие.

С тех пор я ненавижу подслушивать, подсматривать в замочную скважину. Лучше неизвестность...

Но не раскаиваюсь.

Я бы не знал про твой штрафбат, про этот месяц ада, когда после каждой атаки под Кенигсбергом с каждой роты оставались в живых 2-3 человека, а назавтра их место занимали новые проштрафившиеся и их снова гнали вперед под пули бездумно и безжалостно. Что это было? Скрытая форма приведения в исполнение смертного приговора? За что? За то, что ты на нормальном траншейном русском объяснил молодому безусому лейтенанту, что нельзя пушку ставить на открытом месте, потому что стоять ей

там до первого вражеского выстрела. И что люди могут погибнуть. Ты замаскировал пушку, и она на славу поработала, подбила три танка. А ту лысую высотку разнесло в пыль. Ты там поставил большой ящик. Ты спас свой расчет, подбил вражеские танки, но вместо награды ты угодил в штрафбат. Откуда было знать замполиту, что материться ты научился раньше, чем он считать до десяти. Он же не воровал в десятилетнем возрасте. Он же не знал, что такое стая голодных бездомных детей с жестокими законами улицы. Не простил лейтенантик сержанту матерщины. И замполит, видимо, ждал от завшивленных и голодных солдат «чего изволите» вместо той роковой, но, видимо, уместной фразы нелитературного образца...

После каждой атаки, выпивая из алюминиевой кружки неразведенный спирт, ребята спрашивали: «Тебя снова не зацепило, Ленька? Ну, тогда завтра наповал шлепнет». За столом сидят все перевязанные: каждый попробовал немецкого «угощения», каждого зацепило. Только ты невредим. Тяжело раненных отправляли в госпиталь, а с «царапинами» в штрафбате не положено «отдыхать». Назавтра новая бездумная, никому не нужная атака. И снова: «Ну, завтра-то тебя точно убьет». И ты снова шел в атаку в полный рост. Ты искал пулю, но пули свистели вокруг, словно издевались и глумились над твоей юношеской наи-

вностью. Тебе было уготовано другое. Тебя снова ударило взрывной волной рядом разорвавшегося снаряда, для тебя снова наступила тишина. Теперь «только» на месяц...

А потом взятие Кенигсберга уже со своей частью. Свою вину ты искупил кровью: раненые и контуженные в штрафбате реабилитировались. Ты еще успел до конца войны получить новые награды: медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга» и орден Славы 3-й степени, снова стать сержантом после разжалования в рядовые...

День Победы! Для тебя всегда самым-самым был этот праздник с сиренью и черемухой, с тюльпанами и ландышами, с духовым оркестром в городском парке.

Кстати, через час наступит 9 Мая. Темно. Конечно, это не украинская ночь, но тем не менее... Моросит мелкий дождик, а я даже не заметил за разговором. Стало зябко и как-то сыро. Холодок незаметно заползает за пазуху, обнимает спину.

За Победу! За твою Победу!

Как звонко, словно праздничный салют, зазвенели стопки. Утки замотали головами. Вон там, на фоне светлого неба. Пригнуться нужно. Вот так видно? Завертелись. Тихо, не шевелиться. Ну вот и успокоились, но на всякий случай

отгребают дальше, в темноту. Все! Скрылись, растворились в ночи. Еле слышны редкие всплески.

Ну, что, отец, пойдём в лесок вон в тот, что за спиной, чайку вскипятим, погреемся у костра. Чай из талой воды вкусный получается, я бы сказал — целебный. Ноги затекли от неподвижного сидения. Прохладно. Ничего. Пойдём.

Костер разожжем, не беспокойся. Твой сын в тайге как у себя дома. Все вокруг сырое? Вот, смотри. Снимаешь промокшую кору с этой сушины, внутри она, как сухая спичка. Вот так. И под рюкзак или за пазуху, чтоб дождем не намочило. Береста, сухие ветки под густой кроной кедра. Быстро делаем шалашик из припасенных дровишек, чирк — и всё. Дымит, правда, — сырость, ничего не поделаешь. Потерпим. Закружил дымок, пламя робкими язычками облизывает сыроватые ветки, неустойчиво качаясь. Вдруг резким дуновением его прижимает к земле, но тут же огонь вспыхивает ярко и весело, набирая силу. Свежий ветерок придает огню уверенность. Это хорошо: разгонит тучи, к утру распогодится.

Пока чай закипает, я тебе ещё в одном повинюсь. Раз уж разговор начистоту пошел...

Это я когда-то прибил гвоздями калоши Григорию Степановичу, нашему учителю физики.

Мы его «Цислем» прозывали за мягкое произношение слова «число».

— Какое сегодня цисле? — спрашивал он, зайдя в класс, и мелом писал на доске дату. Так начинался каждый урок физики.

Он был старомодным человеком, носил калоши, серый плащ и шляпу с большими полями. Его шкаф, куда он вешал свой плащ, клал на верхнюю полку шляпу и ставил свои блестящие калоши, стоял в углу по диагонали от входной двери, за последней партой. Мы, пацаны седьмого класса, в щелку наблюдали, как Григорий Степанович обувал калоши, смешно подпрыгивая на одной ноге. Потом оказывалось, что в носках калош прятались чернильницы. Он доставал чернильницы, поматывая головой, одевался с невозмутимым выражением лица и гордо шествовал через класс к выходу. Мы же в это время быстро убегали на второй этаж.

Шкаф был самодельный и не имел нижней полки. Калоши стояли на полу. И я, улучив момент, когда Григорий Степанович вышел из класса, достал припасенные гвоздики и приколотил гирей калоши. Гири я взял с полки, где аккуратными рядами были разложены различные приборы: хронометры, барометры, склянки с растворами, весы.

А ведь Григорий Степанович сразу «вычислил» меня. Да и как не «вычислить». Кто бы мог

позволить себе такую дерзость с «Цислем»? А я его не боялся, он несколько раз бывал у нас дома, когда я еще в школу не ходил. Уже тогда я с удивлением смотрел на его калоши. Он уже тогда был седым и очень старым. Он поседел еще в войну.

Но он не стал жаловаться тебе, а, наоборот, хвалил за успеваемость. Я действительно учился хорошо, только вот поведение давало часто повод для огорчений.

Он по-своему меня воспитывал.

Наш класс находился в другом корпусе.

— Молодой человек, — поднимал Григорий Степанович меня, — у тебя треугольник есть?

— Нет, я не знал, что он понадобится.

— На уроке физики любой измерительный прибор может понадобится в любую минуту. Сколько секунд тебе нужно, чтобы принести треугольник из своего класса? — И он смотрел в окно, прикидывая расстояние. — Я думаю, минуту хватит.

Он доставал секундомер.

— На старт... марш! — делал он отмашку секундомером.

И я бежал по коридору, открывая на бегу двери, пробегал коридор — входная дверь, школьный двор, снова входная дверь, снова коридор, дверь в класс. Достая треугольник, бегу назад...

— Минута и двадцать секунд. Слабо бегае-те, молодой человек, слабо.

Он снова давал отмашку, и я пускался по тому же маршруту, оставляя все двери открытыми.

— Минута и пять секунд. Лучше, но...

Я снова бежал. Я понимал все. Это была своеобразная игра. Это была плата за мое озорство. Пока я бегал, Григорий Степанович вел урок, как будто ничего не происходит. Я же несся по коридорам сквозь заранее открытые двери.

— Вот это результат. Пятьдесят пять секунд. Ведь можешь... — И он улыбаясь смотрел в мое забеганное лицо. — А теперь иди к доске и отвечай домашнее задание.

Он не ходил с жалобами к директору, как делали молодые учителя. И тебе он ничего не говорил о моих проделках. Теперь я знаю почему. Его сын тоже был на фронте. Я видел его иногда под огромной черешней в инвалидной коляске. Иногда ты заходил в тот маленький дворик и вы, сидя за самодельным столом в тени, о чем-то разговаривали и курили дешевые папиросы. Григорий Степанович обычно хлопотал у стола. За пределами своего дворика сына учителя никогда никто не видел. Он стыдился своей увечности.

Я раньше не верил старым людям, когда они, почесывая затылок, говорили: «Вот я помню, это было тридцать лет назад...». Не мог я себе представить, что память хранит события

тридцатилетней давности. Я не верил! А теперь вот сам вспоминаю то, чему уже сорок лет. И всплывают в памяти множество картинок из того далекого детства, такого яркого и стремительного, что только стоит погрузиться в воспоминания, как цветной калейдоскоп цепко овладевает моим сознанием и уже невозможно сосредоточиться на чем-то одном. Однако некоторые эпизоды острыми осколками застряли в памяти, прокручиваясь время от времени, словно магнитная лента, и высвечиваясь каждой запомнившейся навсегда гранью.

Я помню, мы жили довольно скромно. Ты работал учителем. Мама не работала — тяжелый порок сердца, сердечная недостаточность. Учительская зарплата тогда, как, между прочим, и сейчас, не позволяла жить нормально. Мама вела семейный бюджет так, чтобы пять человек семьи могли как-то существовать на сто шестнадцать рублей твоей учительской зарплаты. Она переняла от своего отца, моего дедушки Ильи Афанасьевича, ремесло, которое давало дополнительный семейный доход. Но не женское это дело шить меховую одежду. Ты как мог помогал ей. Я помню, как по ночам ты вычинял шкуры, сначала вместе с дедом, а потом, когда дед умер от рака легких, сам возился с этой вонью. Утром приводил себя в порядок и шел учить детей. Ты перестал писать стихи, басни, ты забросил кисть и масляные крас-

ки. Твой мозг был занят одним: добыть деньги, накормить детей — своих сыновей.

Я помню, как, наливая чай, мама клала в каждую кружку по две ложечки сахара. Никому не запрещалось взять еще, но все знали, что положено две.

Однажды мама попросила меня купить хлеба. Обычно мы покупали три булки черного хлеба на неделю. Черный хлеб стоил шестнадцать копеек. Белый — восемнадцать, двадцать. Белый хлеб мы покупали редко. Ты еще шутил, что от белого хлеба в носу свистит. Я и сейчас верю, как и в то, что чем быстрее помещивать ложечкой чай, тем он будет слаще. Я до сих пор кладу в чай только две ложечки и быстро кручу ложечкой, образуя воронку.

Так вот, взял я сорок восемь копеек, авоську и пошел в хлебный магазин, что напротив аптеки. Ну почему тогда не было черного хлеба? Зачем завезли нарезные батоны по двадцать четыре копейки? Какие они были аппетитные? Какой запах! Я не удержался и купил два. Один съел по дороге. Мне казалось тогда, что ничего вкуснее на свете не существует.

Мама, увидев обвисшую авоську с одним батоном и мое сытое лицо, все поняла. С ней случилась истерика.

Я не знал, что это были последние деньги.

Я многого тогда еще не знал.

Ты стал невольным свидетелем этой сцены.
Ты стоял за спиной мамы.
Я никогда не забуду выражения твоего лица.
Потом ты выскочил в открытую дверь,
в комнату.
И стон сквозь подушку...

За чаем и разговорами время летит быстро.
Светает. Внезапный порыв ветра перебирает
хвойные лапы кедра, прижимает к земле дым
и гонит в глубь гривы. Где-то на северо-востоке
еще не появившееся солнце прорвало светлую
полосу вдоль низкого горизонта. Дождь закон-
чился, и свежий ветерок, сдувая прозрачные дро-
жащие капли с еще не распустившихся почек,
поднимает пепел из догорающего костра. Появи-
лись блеклые звезды в разрывах между облака-
ми. Пора в скрадок.

Уток налетело много. Видишь, на льдине
сидят, нахохлившись. Большими кажутся, как
гуси. А там стайка чернети. Прижались к воде,
насторожились. И на льдине тоже повытягивали
шеи.

Нас заметили.
Стоп. Тихо.
Не шевелиться.
Постоим на краю гривы.
Какой простор!
Птичий гомон нарастает с каждой минутой.

Давай, отец, послушаем эту шумную симфонию. На первый взгляд кажется нескладной эта музыка. А ты прислушайся. Каждый ведет свою партию неповторимой мелодии. Здесь нет первой скрипки, здесь нет второстепенных инструментов. Никто здесь не отсиживается на подпевках. В этом величии звуковой гаммы все солисты. Каждый исполнитель поет свою песню жизни своему заинтересованному слушателю. И никто не останется без внимания.

Прорываемся в скрадок. Шумно поднялись стаи уток, закружили, поднимаясь с каждым витком все выше. Снова налетают парами утки, садятся, чтобы продолжить свои брачные игры. Радуются весне.

Но у нас свой разговор.

Уже 9 Мая!

С Великой Победой!

Чайки так неистово кричат, что звон рюмок почти не слышен.

Так в том далеком и страшном 1933 году кричали чайки над Каховским водохранилищем, когда умерла твоя мама. Отец твой умер, когда тебе было три года, отчим — не дотянул до весны 33-го. Он свой паек отдавал вам: твоей маме, тебе и твоему младшему брату Ване. Мама в первую очередь старалась накормить детей. Ты спрашивал маму, почему она не ест, а она успокаивала:

«Мне хватает...», и она показывала тебе свои руки и ноги: «Видишь, Леня, я даже поправилась». Ты верил ей и делил ее паек с Ваней. Откуда тебе, десятилетнему мальчишке, было знать, что то были «голодные» отеки...

Ваню усыновили родственники твоего отчима, его родного отца, и увезли в другой город. Время было тяжелое, и взять обоих они не могли.

Сначала ты тяжело приживался в банде беспризорников, но потом благодаря смекалке и ловкости освоился. Ты научился бесшумно выдавливать стекла, предварительно заклеив их намазанной солидолом бумагой или тряпкой, делать подкопы и ужом проскальзывать в любую щель. Ты научился на базаре «заговаривать зубы» спекулянтам-барахольщикам, пока по карманам шарились старшие твои напарники...

Ты научился жить этой мерзкой жизнью.

Ты научился выживать.

Через полтора года ты нашел своего брата. Оборванный, с завшивленной шевелюрой нечесаных волос, босой, ты добирался в далекий город Хмельник через всю Украину — где пешком, где товарняками. Раньше ты уже был здесь с мамой и отчимом. Остановившись у знакомой калитки, ты долго наблюдал за мальчиком лет шести в чистеньком костюмчике. Тебе запомнился этот матросский костюм, веселый мальчуган, бегающий по лужайке за красно-зеленым мячиком.

Он подошел к тебе. Ты смотрел на родное лицо брата и слезы, промывая две бледные полосы на твоём грязном от угольной пыли лице, лились щемящим непрерывным потоком.

Полтора года ты не плакал.

Ты стал уже взрослым.

— Я кушать хочу, Ваня, — еле выдавил стыдливо.

Потом ты смотрел вслед бегущему в сторону дома мальчугану.

— Тетя, там старец пришел, он кушать хочет! — кричал он.

Тетя долго не выходила. Ты смотрел на своего брата и радовался его судьбе. Но что-то тревожное шевельнулось в душе: ты вдруг испугался, что станешь невольной помехой благополучию твоего Ванечки, и, не дождавшись тети, поспешил скрыться.

Встретились вы с братом только после войны. Я помню, как ты ему рассказывал о своем беспризорном прошлом, о детдоме, войне. Мне не забыть, как, обнимая тебя, украдкой смахивал слезу дядя Ваня. Твои же глаза оставались сухими: ты свое уже выплакал, отстрадал...

Солнце уже выкатилось и слепит глаза, отражаясь от неровной водной поверхности тысячами солнечных осколков. Пора домой. А тебе здесь понравилось бы.

Я знаю.

Но не судьба.

Ты собирался приехать ко мне летом восемьдесят второго, а смерть настигла тебя седьмого ноября восемьдесят первого. Ты уже не работал. Просто не мог работать, и тебе позволили пойти на пенсию на год раньше — в пятьдесят девять. Но секретарем парторганизации школы ты оставался по-прежнему. В тот праздничный день ты, как обычно при орденах и медалях, в восемь утра (ты любил точность) направился в школу, но дверь, которую открывал каждое утро уже тридцать лет, не распахнулась. Те фронтовые взрывы эхом невыносимой боли отозвались в твоей голове.

Ты потерял сознание.

Для тебя наступила тишина.

Теперь — навсегда.

На похороны я опоздал: нелетная погода. Я звонил из Москвы, где застрял на двое суток, и просил не засыпать могилу землей. Мне хотелось попрощаться с тобой.

Заметенную снегом могилу помогал откапывать дядя Ваня.

Ты улыбался своей доброй улыбкой, как будто успокаивал меня. В этой улыбке была неловкость человека, невольно причинившего боль ближнему.

Мои коллеги-врачи, исследовав твой мозг, удивлялись, как ты жил. Я не стал читать заключение о причине смерти.

Я знал больше, чем они.

А вот и товарищ, который отказался вчера идти на охоту.

— Ну, как зорька? — спрашивает он, потягиваясь после сна в теплой постели.

— Такая охота бывает раз в жизни, — я смотрю на него благодарными глазами и думаю: «Хорошая штука все же телевизор!»



Схватка

I

Начальник следственного отдела БХСС¹ линейной милиции старший лейтенант Роман Савельевич Силин не находил подходящих слов для начала разговора. Перед ним сидел директор железнодорожной школы Герман Николаевич Лебединский. В прошлом году на него уже приходили анонимки, притом — дважды. Тогда разбирался старший коллега Романа Савельевича капитан Кислицин. Был звонок сверху, и делу, как говорят, дали ход: директора школы потрясли по полной программе. Кислицин, выполняя гене-

¹ ОБХСС — отдел борьбы с хищениями социалистической собственности.

ральское наставление, проявил тогда рвение — ждал очередного звания. Анонимка не нашла подтверждения, но седых волос учителю прибавила.

Несколько сутулясь, опустив низко плечи, словно под грузом, Герман Николаевич смотрел себе под ноги. И только когда следователь обратился к нему, вскинул брови, не поднимая головы.

— Я вызвал Вас, Герман Николаевич... — следователь запнулся, подбирая слова.

— Снова анонимка? Ну, сколько можно? — директор школы почувствовал, что заводится, откинулся на спинку стула.

— Вы угадали.

— И в чем же на сей раз меня обвиняют? Что я натворил такого? Могу я знать? Вам не противно заниматься этим? Вы же должны понять, что все это ложь, ерунда на постном масле. Я еще не знаю, что написано в этой... гнусной кляузе, но мне уже противно — третья за два года! Кому я так неуютен? — Герман Николаевич встал и прошелся по кабинету: два шага влево, два шага вправо.

Кабинетом назвать отгороженную комнатушку в железнодорожном вагоне можно было с большой натяжкой. Сейф за спиной следователя в одном углу и самодельная тумбочка с пишущей машинкой — в другом придвинули узкий стол близко к двери. Для посетителей оставалось пространство, ограниченное двумя шагами от

портрета К. Маркса на левой стенке до портрета Ф. Энгельса на правой, и шаг до двери.

— Я проанализировал две предыдущие анонимки и, ознакомившись с настоящей, пришел к выводу, что...

— Они написаны одной рукой? И вы меня, наверное, хотите спросить, есть ли у меня такой «доброжелатель»? Так ведь? — перебил следователя Герман Николаевич.

— Да.

— После вашего вчерашнего звонка я ночь не спал. Я понял, о чем будет речь. Все передумал. На работе среди учителей я не вижу такого человека. Да, я бываю строг и взыскателен. Возможно, есть недовольные, но на такую гнусность никто в школе не способен. На мою должность никто не претендует. Кому нужна эта головная боль? У меня нет явных врагов и за пределами коллектива...

— И все же подумайте.

— Что тут думать, я уже все передумал. Черт знает что! Я уроки не могу проводить. Вчера уравнение выскочило из головы. Перед детьми стыдно, — директор бросил взгляд сначала на одного, потом на другого идеолога коммунизма. — Всякая дрянь в голову лезет. Я прошу, Роман Савельевич... Я ведь знаю вас, слышал от людей много лестного... Защитите мое имя. Я не мог просить об этом капитана Кислицина...

— Майора.

— Пардон, не знал. Таких, как Кислицин, начальство любит. Ничего святого — только б выслужиться....

— Значит, не знаете, кто мог написать? — перебил его Силин.

— Нет. Вы можете показать само письмо? Кислицин не давал мне читать те доносы. Сами-то вы знаете, кто сочиняет?

— Знаю, — следователь открыл папку, протянул Герману Николаевичу серый листок бумаги с напечатанным текстом.

Герман Николаевич внимательно вглядывался в знакомый шрифт, лицо его то вытягивалось, выражая удивление, то багровело от негодования. В голове сделалось пусто, только уродливые строчки, волнообразно пошатываясь, лезли своей грязной назойливостью в душу. Он часто останавливался, переводил взгляд на следователя, плывущего в сигаретном дыму, словно спрашивал: «И вы этому верите?»

«...Прошу обратить Ваше внимание на то, что товарищ Лебединский в этом году построил гараж и, как мне известно, полностью выплатил полагающуюся сумму. А сумма не маленькая. Советую Вам поинтересоваться. Вопрос: откуда деньги? Ответ смотрите выше.

Не подписываюсь, потому что опасаюсь, что это может отразиться на успеваемости моих детей».

— Во дает! — воскликнул директор, узнав знакомый шрифт. — Вот негодяй! И дети у него вышли из школьного возраста.

Он еще раз пробежал глазами по старательно напечатанной «телеге». Угадывался стиль хорошо владевшего своим жанром человека.

Буква «е» печаталась выше строчки, просекание буквой «о» почти насквозь до боли знакомо, местами на ее месте зияли дыры. Герману Николаевичу не единожды приходилось читать акты, предписания, напечатанные на этой машинке и на таких же серых листах. Он даже знал, где хранятся пачки этой неликвидной бумаги.

II

Сорокапятилетнего пожарного инспектора Душковича Давида Ильича, круглое и всегда красное лицо которого никак не гармонировало с его долговязой фигурой, побаивались в поселке многие. Руководители всех учреждений в поселке трепетали перед инспектором, и он уже привык к такой разновидности почитания. На проверки пожарной безопасности он являлся всегда неожиданно и всегда с большим кейсом, в котором один отдел занимали бумаги: протоколы, предписания и циркуляры, а более просторный — как бы случайно зевал своей раскры-

той пастью, пока догадливые проверяемые не ублажат его. Особую «благосклонность» Давид Ильич проявлял к столовым и продовольственным магазинам. После очередной проверки, «накрутив хвост» нерадивым заведующим, не заботящимся о «социалистической собственности», «не замечая» округлившегося брюшка саквояжа, отправлялся в свой кабинет писать очередной акт.

В кабинете он проводил большую часть жизни. Почти квадратная комната, четыре на четыре метра, имела одно окно. Немного покосившееся, оно через большой пустырь смотрело на облезлые железнодорожные вагоны в тупике — временное жилье для приезжих специалистов. Всегда плотно занавешенное одеялом, взятым в детском садике, окно тусклым бельмом выглядывало на чуждый ему мир. Самодельная мебель из коричневой финской фанеры, медицинская кушетка, отданная в качестве откупной главврачом поликлиники, встроенный самодельный шкаф, хранивший ворохи пыльной серой бумаги, и старинная пишущая машинка, найденная инспектором на свалке и отремонтированная местным умельцем, — вот, пожалуй, все, что формировало интерьер кабинета Давида Ильича. Нельзя еще раз не упомянуть клетчатое одеяло, маскировавшее окно, прибитое большими гвоздями, служившими для развешивания разных проводков,

прокладок для лодочного мотора и фирменного кителя с блестящими пуговицами. Местами клетки на одеяле, особенно по краям, теряли свои очертания и лоснились темными пятнами от частого употребления его вместо ветоши. Полуразобранный мотор лежал тут же, прикрытый застиранной простыней с расплывчатым клеймом «общезитие».

Хозяина почти всегда можно было застать за пишущей машинкой в правом углу темного кабинета. Настольная лампа бросала огромную паукообразную тень на противоположную стену. И портрет Сталина, приклеенный прямо на грязные обои, таким образом озира́л прямо из центра «насекомого» темный куб серого кабинетного пространства.

Лебединский явственно представил себе инспектора, положил бумагу на стол и поднял глаза на следователя.

— Ну? — Роман Савельевич затаился и выпустил клубы дыма в сторону открытой форточки, встал и выбросил окурок вслед потянувшемуся облачку на улицу. Он вопрошающе смотрел на директора школы.

— Не может быть. Этого не может быть. За что? Что я ему такого сделал? Я ничего не могу понять. А может, просто кто-то воспользовался его машинкой? — спросил он, пытаясь хоть как-то оправдать действия пожарного инспектора,

с которым не раз делил последнюю краюшку на охотах. — Не хочется верить.

— Придется. Я уже все проверил — это он. Точно он. И факты, изложенные в письме, проверил прежде, чем вам позвонить. Не подтвердились. Осталось только составить официальный, так сказать, оправдательный отчет. Вот бумага. Изложите все по пунктам согласно анонимке. Попрошу только сухие факты, цифры — без лирических отступлений.

— Этому меня уже обучил ваш коллега. Третья «телега» на меня. Спасибо, что наконец разобрались...

— Ну, ладно, хватит ломать комедию. Помнится, мы с тобой раньше были на «ты». — Силин снова закурил и, пока директор школы старательно писал, открыл сейф, достал бутылку водки, стаканы, хлеб в полиэтиленовом пакете и стал охотничьим ножом открывать шпроты.

— Позволь...те глянуть, — Герман Николаевич взял из рук следователя нож. — Хорошая работа.

— Зэки сделали.

Напряжение, царившее до сих пор, улетучилось. Герман Николаевич и Роман Савельевич знали друг друга: поселок-то небольшой. Они были близки по возрасту. В глубине души директор школы надеялся на беспристрастное разбирательство, но все же такой благополучной развязки он

не ожидал. Благополучной ли? Узнать, что доносы писал твой товарищ, конечно, тяжело и больно. Но не знать этого и каждый день пожимать протянутую для приветствия руку...

III

В первой анонимке Герман Николаевич обвинялся в том, что подрабатывал рубкой кустарника вдоль железной дороги.

Ничего, казалось бы, предосудительного нет в том, что человек стремится подработать в свободное от работы время, тем более что учительская зарплата постоянно подталкивает к поискам подпитки семейного бюджета. За консультации, дополнительные занятия с учениками по штопанью прорех в их математических познаниях денег учитель не брал. Уроки хоть сутками проводи: оплатят из расчета полутора ставок. Герман Николаевич иногда шутил: «Двойное несчастье в семье: муж — учитель, жена — врач».

Вот с хирургом Иваном Ивановичем и подрядился директор школы рубить кустарник, вызволяя стальной путь от наползающей поросли. Каждый летний вечер, вооружившись секачами, напоминающими мексиканские мачете, выкованными местным кузнецом за жидкую валюту, два друга отправлялись на стареньком мотоцикле

далеко за поселок (поблизости участки уже распределены). До темноты в придорожной пыли секли они пружинистый ивняк, непослушный густой березняк. Местами сплошной шиповник, цепляясь за одежду, оставлял свои колючки в плотном брезенте спецовки и в натруженных ладонях. Работа оплачивалась щедрее учительского и врачебного труда и давала надежду разжиться на одежду детям к предстоящему учебному году. И то правда: заработали они за две недели по три своих месячных оклада. Руки поселковых интеллигентов огрубели. Натертые мозоли Германа Николаевича нагноились, и друг-хирург по ходу дела лечил его. Пришлось вскрыть гнойник и делать перевязки, но работу не прекращали и закончили в срок.

— Мои бы путейцы так работали, — искренне восторгался начальник дистанции пути.

Но радость учителя была недолгой: кто-то настроил донос. Оказывается, он получил деньги нечестным путем: расценки завышены, участок достался по блату. Еще он обвинялся в том, что отдал машину школьного угля своему другу за самогонку.

Капитан Кислицин разбирался дотошно и с пристрастием, хотя с самого начала было видно, что дело шито белыми нитками. Промеряли площадь вырубленного кустарника, проверили расценки и оказалось, что еще не доплатили

какие-то копейки за выполненную работу интеллигентам-дровосекам. К качеству порубанной поросли тоже претензий не было. И с углем разобрались: отдал машину угля, предназначенную для школы, директор инвалиду Отечественной войны Копылову Ивану Ивановичу. Запасы в школьной котельной еще были, а отцу друга-хирурга нечем было согреться в наступившие рано холода. Правда, через две недели полагающийся Ивану Ивановичу уголь завезли в школу. Все, вроде, в ажуре, но истинное положение дел устанавливали путем допросов учителя, его коллег, самого Ивана Ивановича старшего, после чего тот слег в больницу: всплыла-таки самогонка. Да и как не всплыть. Никто и не скрывал, что затопили баньку, чтобы смыть угольную пыль, и, как водится, поужинали с первачком. Еще и Давид Ильич напросился в баньку.

— Баньку топим? — спросил он, проходя мимо.

— Топлю, Ильич, топлю. Вона, хлопцы уголь помогают... дай Бог им здоровья... Самосвал вывалил на дороге... Герман свой уголек отдал... — Иван Иванович, задыхаясь, обрывал фразы, отдышал, навалившись на забор: старость не радость.

Герман Николаевич с Иваном Ивановичем младшим (обычно друзья звали его просто Иваном) заканчивали работу: осталось пара-другая

носилок. Они издалека поприветствовали Давида Ильича, помахав чумазыми руками.

— Так можно будет попариться? — инспектор посмотрел на стелющийся по земле дым.

— Приходите, пару на всех хватит.

Хоть и некстати напрашивался в баню Давид Ильич, но что поделаешь.

— Спасибо за приглашение, обязательно приду, — с какой-то напускной важностью сказал пожарный инспектор и поднял свой пузатенький саквояж.

И он пришел и парился, и угощался крепкой самогонкой.

Между заходами в парилку друзья, как водится, костерили Горбачева за «сухой закон», строили прогнозы на предстоящую зиму в плане охоты. Литровая бутылка самогонки развязала языки. Все свои — чего бояться!

— Хороша самогоночка, — Давид Ильич, вытирая тыльной стороной руки распаренные губы, морщился для порядка и хрустел соленым огурцом.

— Сам сделал, — гордо сказал Иван Иванович старший и посмотрел на дверь, словно чего испугался. — Время, видишь, какое: узнают — не поздоровится. А мне никак без нее, окаянной... Нет, не то чтобы пьянствовать ее: для другого дела нужна. Вот, к примеру, уголек привезли, в стайку ребята весь перетаскали. Сколь трудов... Нешто

я один бы справился? А опосля трудов самого-ночки, да с баньки-то...

— Это дело не последнее, дед, — сын Иван устало смахнул с красного лица струящийся пот.

Вызов в милицию для старого фронтовика был неожиданным. Столько позора за всю его долгую жизнь он еще не знал. Самогонный аппарат, сделанный из молочного бидона, стоял прямо в сенях, не прикрытый. Изымали в присутствии понятых. Оскорбительные, изнуряющие допросы следователя Кислицина вконец разладили и так не отличавшееся крепостью здоровье. Инфаркт, уже второй по счету, срубил старика прямо в милиции.

Герман Николаевич выдержал, но и он ходил чернее тучи. Его выводили из равновесия нелепые обвинения в «незаконно» полученных деньгах за рубку кустарника, в «краже» угля и других прегрешениях. Но более всего директора школы тревожило здоровье Ивана Ивановича, которого он уважал как своего отца. Свой-то тоже прошел ту войну и умер безвременно: еще ни одна война не продлевала век своим воинам.

Теперь многие неизвестные обрели конкретность, свое значение, и все стало на свои места. Стало понятно, почему «доброжелатель» во всех трех анонимках так подробно освещал некоторые детали из жизни директора. Понятно,

откуда взялась эта литрушка самогонки, отнявшая здоровье ветерана.

Вот кто организовал жалобы от родителей в управление. Они тоже не подтвердились, но тяжелый осадок после многочисленных проверок долго еще отдавался болью в сердце, лишал сна и покоя.

Герман Николаевич даже хотел уволиться и уехать, но начальник его управления слушать не хотел. Он, помнится, сказал: «Кто-то только и ждет, что сломаешься. Не делай такой подарок ему. Я тебе верю». Эти слова вселяли уверенность, не дали упасть духом.

— Чем же ты провинился перед Давидом Ильичем? Меня это интересует как следователя. Что, в конце концов, вдохновляло его на «телегописание»? — старший лейтенант посмотрел в глаза собеседнику.

— Я, кажется, понимаю, но ведь я дал слово никогда об этом не рассказывать.

— Ну, как знаешь. Я хочу выпить за окончание этого грязного дела. Я ведь и предыдущие «телеги» поднял и ознакомился с материалами. Тяжко тебе пришлось, Герман. Поэтому без тебя разбирался, не хотелось лишний раз резать по живому. Кислицин-то выполнял задание сверху. Доносы все писались на имя генерала Полторанина, с которым раньше Давид Ильич работал в Тобольске. Генерал нынче в отставке, а новому

начальству майор не глянулся. Обратно к нам в линейную милицию наш начальник не взял. Запил Кислицин с горя. Списали его с формулировкой: по состоянию здоровья.

IV

Граненые стаканы глухо брякнули. Не выпитая водка, не груз, свалившийся с плеч директора школы, а тяжкое разочарование просилось наружу исповедальным разговором. Герман Николаевич молчал, поглядывая на следователя, будто решал сложную задачу со многими неизвестными. Но все «х» и «у» уже не ходили в неизвестных. Осталось огласить условие задачи. Впервые математик решал задачу с конца, нарушая логичный ход замысловатой комбинации.

— Так и быть, — решительно сказал учитель, — расскажу. Кажется, Душкович сам избавил меня от обета молчания. Слушай, Роман, я теперь его на порог школы не пущу, — завелся снова учитель.

— Он пожарный инспектор, так что пустишь — никуда не денешься. Ну, так какая кошка пробежала между вами?

— Это было два года тому назад. Мы с Душковичем на Высокой гриве, что недалеко от нашей избы, нашли берлогу. Случайно. Тропили зайца по

первому снегу и нашли в буреломе свежий медвежий след. Следы, петляя, пересекались во многих местах. Медведь топтался на месте. Значит берлога где-то рядом. Мы разошлись на расстояние шагов двадцать, взяв ружья на изготовку. Нужно было распутать следы и найти точное расположение берлоги, заметить место и тихо уйти, не потревожив хозяина. Вдруг Душкович остановился и стал делать мне знаки. Я подошел к нему и увидел метрах в пятнадцати свежевырытую землю, кучу мха. Сам медведь, видимо, отдыхал в берлоге, а может, вымащивал мхом свое ложе и не слышал нас. Мы ножом срезали несколько тонких березок, сосенку повыше, с учетом того, что зимой насыплет снегу, и тихо по своим следам вышли из гривы, оставляя метки на стволах деревьев. Только отойдя на значительное расстояние, остановились на перекур. Меня поразило, что Давид не мог прикурить, так у него дрожали руки. С лица его схлынула привычная краска, оно сделалось бледным и даже пугающе серым. Я тогда не придавал этому значения, потому что и сам испытывал состояние крайнего возбуждения. Третий год я искал берлогу и не мог найти, а тут такая удача. И зверя не тревожили, и место заметили. Все сделали чисто.

Следователь одобрительно кивнул головой.

Герман Николаевич, успокоившись, вел свой рассказ не спеша, красноречиво жестикулируя руками.

— Я предложил Давиду Ильичу на будущую охоту взять в напарники Ивана.

Следователь снова кивнул одобрительно головой при его упоминании.

— Иван — надежный мужик и охотник каких мало. Раньше мы с ним не раз на охоту ходили. Его отец гончую держал, может, помнишь? Кобель вот такой, — учитель положил ладонь на угол стола, — по пять зайцев из-под него стреляли за один день. Поездом его зарезало.

— Знаю, тоже охотился с ним, — сказал старший лейтенант, разгоняя рукой дым.

— Ну вот, значит, Душкович сначала и слушать не хотел о третьем. Зачем, мол, делиться добычей, но потом все же согласился. Тем более что у Ивана лайка отменная есть — Карай. Ну, ты знаешь.

Следователь снова кивнул.

— На берлогу собрались в начале декабря. Мы уже заранее выстроили схемы размещения, обговорили разные варианты. Накануне зарядили свежие патроны. На зверовых охотах, сам знаешь, старые патроны лучше не использовать.

Роман слушал рассказ внимательно, кивая головой, и время от времени тихо наливал водку по стенке и так же осторожно ставил перед рассказчиком, предварительно приготовив закуску.

— По зарубкам нашли берлогу быстро. Карай указал точное место: шерсть вздыбилась

по хребту, пес зарычал, попятился назад, затем, словно одумался, подбежал к небольшому отверстию, уходящему под осиновую колоду, и басовито залаял. Что-то новое наметилось во взлайке опытной собаки. На белку он обычно повизгивает, глухаря держит непрерывным азартным лаем, а тут — короткие яростные полайки и рык низкий, как раскаты грома, катятся из его полураскрытой пасти, прерываемые короткими прихлебываниями.

— Ну вот, показал нам — здесь миша, — глухо и даже торжественно сказал Иван, — свое дело сделал. Дальше он нам не помощник — на зверя не научен. Он у меня мастер по пушнине, боровой.

Охотники остановились перед берлогой, образовав полукруг, держа на изготовку ружья. Пес еще немного порычал и успокоился. Он лег, положив голову на вытянутые вперед лапы. Глаза его безотрывно смотрели в темную дыру в рыхлом снегу. Над отверстием куржаком нависал слоистый снег. Толстая осиновая лесина снизу темнела ровным краем, наполовину закрывая вход в берлогу.

Почти не сговариваясь, охотники сняли лыжи и начали утаптывать снег от берлоги до предполагаемых «огневых позиций». Пушистый снег в начале зимы едва доходил до колен, поддавался легко. Протаптывая дорожки, не сводили

глаз с еле заметной норы под куржаком, уходящей под поваленную осину.

— Давид Ильич вдруг предложил новый план охоты: стреляет он первым, а мы, если понадобится, только после него, — продолжал рассказ Герман Николаевич. — Раньше мы обговаривали, что стреляем мы с ним вместе, в надежде, что четыре пули положат зверя на месте, и только после, в случае необходимости, добивает зверя Иван. Нас хоть и удивил такой поворот событий, спорить не стали: не время. Тем более что Душкович стреляет довольно прилично: раньше занимался стендовой стрельбой. Я сам видел, как он уток влет кладет — засмотришься.

Герман Николаевич встал, шагнул влево, по-армейски развернулся на месте, сделал два-три шага и встретился в упор глазами с бородачом в фабричной рамке. Его взволновали воспоминания двухлетней давности. Чувства учителя метались между ненавистью к «доброжелателю», заставившему его посмотреть на окружающее с какой-то вывернутой стороны, где циничная ложь распинала на голгофе клеветы и напраслины все праведное, и жалостью к человеку, снесемому червоточиной собственной ничтожности. Слова плохо подбирались. Уж сколько передумано, сколько раз в кошмарных снах он впивался пальцами в густую шерсть, сколько раз заглядывал он в те налившиеся кровью глаза зверя и про-

сыпался в поту, но впервые устами своими словесно пытался передать пережитое и наболевшее. А ведь стало уже забываться и казалось, никогда и не вспомнит он ту охоту.

Прикуривая сигарету, погрузился в воспоминания и не заметил, как следователь позвонил Ивану. Словно отрешившись от всего земного и уставившись в окно, учитель продолжал свое повествование.

Хозяин тайги не хотел выходить из своего належающего места. Его пугал яркий до рези в глазах свет, пробивающийся ярким столбом, зычный лай собаки, отдававшийся глухо в замкнутом пространстве, громкий хруст снега и еще неизвестные звуки и запахи, доносящиеся сверху. Организм его еще не совсем пробудился, и восприятие опасности в его пока не проясненном сознании не определилось.

Толстая лесина ткнулась в бок острым затесом. Вместе с нею ворвался целый сноп чужих запахов. Медведь лапой резко отбросил березовый кол, но тот поднялся и с новой силой больно ударил меж ребер. Там, наверху, ворочали бревно, толкали с размаху в бочину.

Снова они. Никуда от них не деться. Осенью долго медведь искал укромного места — везде шум моторов, по всем болотам и гривам следы этих людей. Нет покоя во всей тайге. Облюбовал высокую сухую гриву с непролазным

буреломом, берлогу себе вырыл глубокую, выстелил ее мягким мхом... Нашли... Нет покоя!

Еще раз Иван вместе с Германом попытались провернуть березину. Бревно мотанулось с такой силой, что чуть не уронило охотников в берлогу. Из темноты донесся глухой рык. Они отскочили на свои места, схватили ружья. Пожарный инспектор, устроившись на высокой коряге, все это время не отводил глаз от берлоги, не выпуская ружья из рук.

Сыпануло снегом из-под осиновой лесины, отпрыгнул далеко Карай, не знавший раньше зверя. Медведь пошел на Германа. Зверь не поднялся на задние лапы. Он шел неуязвимым клином. Стрелять некуда... Припав на колено, учитель дуплетом послал пули в цель. Прожгло горячими жгутами крепкое тело хозяина тайги, прогнало противной волной застоявшиеся мускулы, приподняло над землей, хватнул медведь передними лапами пустоту. Что-то метнулось в сторону, побежало... Поймать...

— Через мгновение, — продолжал Герман Николаевич, — я увидел то, чего каждый боится больше всего: медведь сидел верхом на чьей-то спине, залитой алой кровью. Я еще не знал, кто попал в лапы зверю. Это кровавое пятно на белом маскхалате до сих пор стоит в моих глазах. Потерять друга на охоте... Нет! Не бывать этому. Уже в прыжке я достал свой охотничий нож

и бросил взгляд вправо: Иван перезаряжал ружье, значит стрелял он.... Спереди забежать нужно, отвлечь зверя... Выиграть время... Ильич в опасности.

Нож легко погрузился в живую плоть, по телу медведя снова пробежала волна, но эту волну Герман Николаевич ощутил уже своим телом, медведь с силой тряхнул головой, человек и зверь мгновенно поменялись местами, встретившись, что называется, нос к носу. Прозвучал громкий, словно пушечный, выстрел, огромная туша рухнула всей тяжестью, вминая учителя в красный снег... Бледнеющие губы полураскрытой медвежьей пасти почти касались его лица. Голова медведя лежала на левом плече Германа. Рядом в полный рост стоял Иван. Он отвел стволы от уже неподвижной медвежьей туши. Освободившись от плена, сидел на снегу инспектор и смотрел в упор на кровавый снег. Губы его дрожали, лицо побледнело, осунулось и вытянулось, глаза казались отсутствующими.

Потом выяснилось, что спину пожарного инспектора окрасила кровь смертельно раненного зверя: все четыре пули из двустволок Ивана и Германа попали в цель. Инспектор же остался невредим, только три полосы, оставленные слабеющей когтистой лапой, вздулись лиловыми жилами на его бледном лбу.

— Получается, Ильич не стрелял? Странно... — следователь качнул головой.

— В том-то и дело, что не стрелял. Он сказал, что случились осечки с обоих стволов. Нам некогда было разбираться: предстояло свежевать тушу, быстро темнело. А что тебе показалось странным?

— Да я эту историю как-то в пьяной компании слышал от Давида Ильича совсем по-другому: это тебя с Иваном он спасал. «Растерялись, — сказал, — мальчишки». Ему тогда не очень-то поверили... Что-то в его рассказе не клеилось. Все ведь знали и тебя и Ивана. Теперь мне все понятно.

— Вот гад, а! Надо же так набрехать! — Герман Николаевич снова вскочил на ноги. Два шага влево, два вправо. Заметался как белка в колесе. — Как же так? Как можно?

Неслышно открылась дверь, вошел Иван.

— Что тут у вас за собрание? — зычно рыкнул он за спиной.

— Вот, Ваня, нашелся «доброжелатель» — уважаемый наш Давид Ильич... — Учитель выдержал паузу, развернулся и посмотрел в лицо другу. — Ведь не было тогда у него осечек... Не стрелял он...

— Я знаю. Он, как увидел медведя, бросил в сторону ружье и побежал. Ты из-за зверя не мог видеть. Я-то хорошо видел и тебя, и его. Медведь всегда чувствует слабого, вот и подмял его.

— И ты молчал?

— Выходит, молчал, — Иван опустил глаза.

— А он нет, он нас на весь поселок ославил. Мы, оказывается, сбежали, а он медведя завалил и спас нас от лютой смерти! — Герман Николаевич уже плохо владел собой. Ярость больно рвала грудь, била шумно в голову.

V

Возвращались обратно в зимовье не разговаривая, каждый свою думу думал, прокручивая снова и снова все, что случилось. У Германа Николаевича ныла нога: оказывается, медведь успел схватить его за голеностопный сустав. Спасло то, что челюсть его была с одной стороны раздроблена его же первой пулей. Прихрамывая, шел медленно, часто останавливаясь. Душкович с Иваном подстраивались под него, не спеша шуршали лыжами по протоптанной лыжне. Учитель снова и снова возвращался к происшедшему. Не было осечек. Не могло их быть. Он заряжал свои патроны капсюлями, которые взял у инспектора. Ружье у Душковича надежное: стендовое, еще ни разу не осекалось.

Иван обогнал всех, ушел вперед. Спустившись с высокого берега к реке, Герман Николаевич достал сигарету и, отвернувшись от ветра, чиркнул спичкой. И тут он увидел, как пожарный инспектор, шедший сзади, бросил

что-то блестящее в снег. Ему подумалось, что тот выбросил сигаретную пачку. Но она бы осталась на поверхности снега... Нога ныла все больше, каждый шаг отдавался острой болью. Полная луна отбрасывала тень, пошатываясь в такт хромоте.

Ночью в зимовье не спалось. Синело крошечное окно. На столе у самого окошка стоял круглый фонарик на три батарейки прожектором вниз, притягивая взгляд. Как ни поворачивался учитель, а только откроет бессонные глаза, как тут же ровный цилиндр словно магнитом притягивает к себе. Не подвластная воле и рассудку сила держит его невидимой рукою и теперь уже не дает сомкнуть глаз и отвести взгляд от окошка. Мысли путаются, размазываются в каком-то мареве. Невозможно сосредоточиться на чем-то одном. То тридцать пар ученических глаз смотрят на него вопрошающе, а он не может владеть языком; то идет он на лыжах: ни деревьев, ни кустиков не видеть — ровное нескончаемое снегоморье, вокруг ни души, и вдруг косачи или глухари вылетают из-под лыж — черные, большие, а он мажет, мажет... Не выстрелы — щелчки мухобойки глохнут в могучих хлопках крыльев дивных птиц.

Герман Николаевич тряхнул головой, видение слетело. Он сел на полатах, в темноте нащупал куртку в подголовье, ногами нашел дежурные валенки, поднялся. Рука сама взяла фонарик, на ходу ловко сдернул шапку с гвоздя у самого

косяка. Скрипнули двери. Луна полным желтоватым блюдцем легла на разложистые вершины понурых неподвижных кедров, оглядывая своим ясным оком заснеженные таежные просторы. Морозец к полуночи поддал, скрип снега эхом отбился от лесной стены за избой.

Фонарик учитель включил только спустившись по крутому склону к реке. Ногу ломило. Маленькие, еле приметные лунки в снегу нашел сразу, так же быстро отыскал сначала один, потом и другой патрон. Вмятин от бойков на капсулях не было. Поднимаясь на высокий берег, директор школы увидел сверху силуэт человека в короткой куртке. Душкович, а это был он, сделал пару шагов навстречу и покатился по лыжне прямо на учителя.

— Отдай! — крикнул он на ходу глухо. — Я тебя уничтожу!

Лицо его перекосила злобная гримаса, он угрожающе растопырил руки. Герман Николаевич отшатнулся в сторону, но левая рука нападающего зацепила его. Пожарного инспектора развернуло, и он упал на спину, завалив на себя своего противника. Оказавшись сверху, директор школы сильными руками сдерживал инспектора. Он увидел, как бледный до синевы лунный свет обнажил маску страха и растерянности на лице, еще мгновение назад искаженном гневом и яростью.

— Успокойся, я не скажу Ивану и вообще никому, — сказал учитель ему и далеко бросил патроны свободной рукой.

Герман Николаевич закончил свой рассказ, присел на самодельную табуретку. Иван и следовательно смотрели на него, на человека, освободившегося от тяжелого груза, человека, тяжело раненного в самое сердце, человека, обретшего свободу. Иван шагнул в сторону окошка.

— Забыть хочется ту охоту. Противно вспоминать, как он драпал. Германа жалко: столько потерпелся... Три «телеги»... И за что? Что стал невольным свидетелем чьей-то трусости? — Иван махнул рукой.

Все трое посмотрели в окно. Вдоль железнодорожных путей шел, несколько сутулясь, Душкович Давид Ильич, в такт шагам помахивая потяжелевшим саквояжем.

— Мужики, — сказал тихо Герман, провожая взглядом сутулую фигуру. Ему вдруг стало жалко пожарного инспектора. — Все должно остаться между нами.



Наука

Середина октября уже отметилась ночными заморозками и первым снегом. Снег за день стоял почти полностью, но к ночи снова захрустело. Осенняя стынь лезла в палатку, просачиваясь сквозь потертый, выцветший до белизны брезент. Время потянулось медленно. Кажется бесконечной эта опостылевшая промозглая ночь. С наступлением темноты, после сытного ужина уснули под легкое жужжание буржуйки и нежное тепло почти одновременно. Так же разом всех разбудил собачий холод. Кончилось тепло, кончился и сон. Посредине большой армейской палатки сиротливо стояла буржуйка. Из крошечной тьмы таращились на светящуюся щель в неплотной дверке

печки сонные опухшие глаза. Вот-вот разгорится, пыхнет теплом. Но время шло, а долгожданного тепла все не было. Глаза уже обвыклись. Печка с трубой, уходящей в потолок, черным силуэтом напоминала уродливого жирафа с короткими ножками. Небо квадратным синим куском вместе с огрызком луны, робко пробиваясь сквозь маленькое окошко, слабо разбавляло темень. На столе вырисовалась горка грязных алюминиевых тарелок и торчащих в разные стороны ложек. Впервые за два месяца стол после ужина остался неубранным, посуда немытой. На нарах зашевелились. Никто не встал подбросить дров.

Только один человек спал в эту ночь. Лежал он особнячком под стенкой, укрытый теплым полушубком. Его бархатистый негромкий храп своей основательностью раздражал соседей.

— А Дедун, смотри-ка, похрапывает. Вот человек! Ни холод его не берет, ни голод, ни утома.

— Закалка. Сталинская еще. Пять лет лагерей...

— Восемь. Говорят, восемь отбарабанил.

— А я слышал — одиннадцать.

Каждый имел свое суждение. Никто толком не знал, сколько и за что сидел Дедунский Матвей Федотович. Никогда сам Дедун, как прозвали его в бригаде, не распространялся о себе. Слава о нем впереди него пришла. Он еще не появился в строительно-монтажном поезде, а слух пошел,

что едет к ним вальщик, равного которому на всем белом свете нет. О нем ходили легенды. Сорока на хвосте принесла, что в войну был награжден звездой Героя, и только это спасло от вышки; что до лагерей преподавал в университете, что Пушкина мог цитировать часами. И что звали снова в университет, но он отказался. «Я теперь лес валить умею лучше, чем преподавать», — сказал и уехал куда глаза глядят. И о странностях его много болтали: и что молчун, и что крут характером, и что чуть ли не в белой рубахе лес валит, и что бывший зэк Дедунский одинок, и что всестройки прошел, закален и холодом и голодом. И главное чудачество: на дух не переносит анекдотов. Определили Матвея Федотовича бригадиром в бригаду, сколоченную из демобилизованных из армии комсомольских посланцев.

— Ты бы, Андрюха, пошевелил печку, — проскрипел дрожащий голос из угла.

— Че ее шевелить. Сейчас разгорится, вона шает, — Андрюха кивнул в сторону буржуйки и натянул легкое одеяло на голову. Сырая, не просушенная с вечера рубаха высохла на теле и забрала все тепло. Он уже не раз вспомнил совет бригадира. Ребра до боли сдавила судорога. Он сжался в комок. Показалось, что стало теплее, но через минуту его снова взбулындило трясучим ознобом.

— У-у-у-у! — задрожал Шутов Илья. — Что, дровишек подбросить некому? — Он облокотился,

посмотрел на буржуйку. Свет, исходящий из ее нутра, успокоил его, и он повернулся на другой бок, втянул голову в плечи. — Когда она разгорится? Нет мочи ждать. Я уж думал, Дедун не растопил на ночь.

— Разве мог он заморозить свою любимую бригаду? Сейчас разгорится... — Витька Сомов потянулся, задрожав всем своим мускулистым телом. Он улегся так, чтобы видеть печку. Огонь внутри колыхнулся волной. — Андрюха, ты там ближе: подбрось пару полешек, — глухо и просяще проскрипел он.

— Погоди маленько, горит же. Ничего, щас потеплеет.

Так и не подошел никто к печке. Каждый пригрелся в своем лежбище, боясь шевельнуться. Любое движение вызывало болезненное, до ломоты, подергивание мышц. Терпеливо ждали благодати от куска железа, стуча зубами.

В бригаде уже привыкли, что каждый вечер Дедун растопит буржуйку, проследит, сушится ли одежда, поправит вешала — не случилось бы пожара. Если нужно, и ночью подежурит. Работал он наравне со всеми, несмотря на свой возраст. Ему недавно стукнуло шестьдесят. Успевал бригадир и дичи добыть, и рыбы поймать. Частенько то косач, то глухарь в котле варится.

— Ты бы, Федотыч, птичку какую добыл, а то третий день макароны по-флотски. Надоели.

— Кипяток приготовьте, картошки начистите, — как обрежет бригадир.

Возьмет свою одностволку и нырнет бесшумно в чащу. Через какое-то время несет уже пару косачей или глухаря. Никого с собой на охоту не брал. К одностволке никто никогда не прилагивался, хотя запрета не было. Просто знали: нельзя. Много чего у них делалось такого, чего не знали в других бригадах. Дедун установил своеобразный сухой закон. Под самодельным столом в палатке стояла канистра спирта. По праздникам и в исключительных случаях: простуда, к примеру, бригадир наливал по полкружки. Праздники и исключительные случаи определял сам. Никто не знал, где он взял спирт и как протащил в вертолет. Сумки, рюкзаки на посадке шмонали, как говорится, по-черному. Не тронули только вещи Дедунского. Еще бы: сам начальник СМП¹ за руку здоровался и когда провожал, обнял старого вальщика: «Надеюсь на тебя, Матвей Федотович. К ноябрьским встретитесь на Ватинском Егане с бригадой Дубенца. Он из Нижневартовского пойдет навстречу. Всем необходимым обеспечим». Обидно было слышать такие слова комсомольским посланцам, как будто один Матвей Федотович забрасывался десантом рубить просеку под будущую железную дорогу.

¹ СМП — строительно-монтажный поезд.

Еще завел порядок Дедун: ежевечерние ножные ванны в специально приготовленном пихтовом отваре. Эта лечебная, как считал бригадир, процедура была обязательной, хотя специального распоряжения не было. Просто после первого рабочего дня заварил Дедун душистую пихту, побряхтел от удовольствия, распаривая натруженные ноги, а закончив омовение, ошпарил оцинкованный тазик крутым кипятком и передал Андрею. За ужином налил всем спирту «за начало». Второго тоста не последовало. Так и повелось — один раз положены бригадирские полкружки.

— Одежду чтоб каждый день сушили; мыло хозяйственное, если что постирать, — под нарами, — Матвей Федотович показал рукой. — Вот, пожалуй, и все наставления.

Не любил он нравоучения читать. Делайте, мол, как я. Поначалу молодые комсомольцы с удивлением и восторгом смотрели, как управляется бригадир с любой работой. И не имеет значения, топор у него в руках или иголка для шитья, бензопила или поварешка. И когда в очередной раз разбивали палатку в новом месте (по мере того, как просека уходила на северо-восток), ребята легко управлялись сами. Не прошла наука даром. Матвей Федотович добывал в это время что-нибудь для праздничного ужина. А каждое новоселье — событие важное. Очередной трех-

километровый рубеж отмечался положенным бригадирским утощением.

За исправностью бензопил бригадир следил с особой предвзятостью. Каждый вечер Дедун свою «Дружбу» и смажет, и подкрутит, и свечи просушит. Зачихает у кого бензопила, подойдет, разберет тут же на фуфайке прямо в лесу, устранит причину, снова соберет. На, работай. Все просто у него получается. Он и цепи приноровился точить в полевых условиях.

— Техника уход любит, — любил повторять бригадир.

А потом у всех в моду вошло по вечерам с техникой возиться. Потому и простоев нет. Ребята молодые, быстро схватывают, на лету ловят. Вот только с печкой да с посудой беда. Как взял эту заботу на себя с самого начала бригадир, так и тянет сам. После ужина посуду вымоет, печку растопит и ночью не раз встанет дров подбросить. Раньше тепло было, ночью вставать не нужно, а теперь... Устал от недосыпу. Сколько раз думал: «Не буду, сами пусть...» Но однако ж свои, жалко: вон как умаются за день. Лечебные процедуры примут, одежду развешат вокруг печки и без задних ног валятся на нары. Тяжко им. Это ему не привыкать. Здесь-то курорт по сравнению с лагерями...

— Да растопит кто-нибудь печку?! — благим матом заорал Митька Хрустов.

— Сам и растопи! — Андрей, съежившись клубком, смотрел на пробивающийся свет из печной притворки. Обстановка накалялась.

— Что за диковина: печка уже не меньше часа горит, а тепла как не было, так и нет? — Шутов Илья накинул на плечи одеяло, спрыгнул на пол. Ноги сами нашли растоптанные старые ботинки. Он закостеневшей рукой открыл дверцу. — Тут свечка горит, а мы тепла ждем! Ну, Дедун! — Илья непристойно выругался. В бригаде материться было не принято: Дедун не сквернословил. Все как по команде покосились на тепло укрытого бригадира. Тот шевельнулся.

— Так растопи, раз уже встал, — дрожащим голосом прохрипел Виктор.

— А что тут растапливать. Дрова заправлены, — он подвел колыхающийся огонек под сухую бересту. Потрескивая, огонь быстро набирал силу.

— Будем считать, что сегодня дежурит Илюша, завтра — я, и так по очереди, — Андрей сел и протянул руки к нагревающейся печке.



Одна беда не ходит

I

Борис Степанович сидел в ночной электричке и смотрел в темное окно. В окне отражалась его небритая физиономия. Густая щетина, окружавшая плотно сжатые губы, в нечетком изображении дрожащего немытого стекла напоминала мыльную пену. Он невольно протянул ладонью по лицу. Вчера перед работой побриться не успел. Седые волосы, выбиваясь из-под фирменной фуражки, пытались забраться на нее своими кудрями с боков, придавая отражению неряшливость. Он снял фуражку и пригладил непокорные волны. В вагоне еще ехало несколько пассажиров. Все дремали, склонив низко головы. Борис

Степанович боялся уснуть. Его станция была предпоследней, и электричка там задерживалась только на одну минуту. То и дело он резко подкидывал сонную голову и снова всматривался в темноту. Нужно было чем-то занять мысли. Странная смена выдалась. Надо же так обмишуриться. Кому расскажешь — не поверят. Он улыбнулся, всматриваясь в окно. Там из мрака ночи на него оскалился незнакомый беззубый дед.

Все сосед... «Коровку» доить буду, заходи... отведаем первачку. Жена в день». Провокатор... Отведали... Сосед хороший, вместе в школу ходили, вместе на железке работали. Только Толян, как звал соседа Борис Степанович, уже второй год на пенсии. Оно-то и самому можно бы на пенсию — возраст вышел, да страшновато — совсем один, а тут и помощников машинистов не хватает. Разрешили подработать. Вот и приходится ездить на работу за тридевять земель. А что делать? Дети выросли, уехали в город. Жена уж двенадцать лет как померла. Из хозяйства кот да собака.

С «коровки»-то все и началось... Анатолий Евсеевич и до указа бражку ставил, а теперь — сам бог велел. В поселке спиртное не продают. В городе, говорят, только с двух, а очереди... Людей давят из-за нее, окаянной. Недавно соседка рассказывала: двоих женщин затоптали. А как без нее — валюта. Хоть какая работа сделается, а расчет один. Да и самому такой товар не лишний

в хозяйстве: где после баньки, где с устатку. А праздники? Поминки, не приведи господи.

Смастерил Анатолий Евсеевич самогонный аппарат — «коровку». А что его мастерить: бидон из-под молока, змеевик медный, бак для охлаждения — просто! Теперь все удивляется, что раньше брагу пили. А тут прямо спирт получается. Указ помог. Нет худа без добра. Зверобойчиком да душицей заправит — коньяк! Верка лекарства настаивает. Пусть лечится, не жалко.

— Зайди, — говорит, — «коровку» доить буду...

Борис Степанович спустился в подпол, взял соленых груздей — уже высолились. Из холодильника достал половину вареной курицы, квас в двухлитровой банке, сложил все в полиэтиленовый пакет. Сосед к его приходу наварил картошки — крупная, рассыпчатая. «Коровка» парила во дворе. Для нее Анатолий Евсеевич приспособил буржуйку. Теплый осенний день доносил последние запахи осени. Солнце в затишке пригревало, черная земля убранного огорода вбирала последнее тепло. Бархатистый зеленый островок моркови и буровато-фиолетовая грядка свеклы — вот и все, что осталось неубранным.

— Садись, сосед, первая быстро бежит.

В трехлитровой банке уже появились первые теплые капли, они матовым паром обдали холодное стекло, вскоре по стенкам заструились

ручейки, направляясь в прозрачное озерко на дне. Друзья-соседи устроились под навесом: там и столик на этот случай. На столе уже порезаны вдоль на две части соленые огурцы, парит картошка.

— Я ненадолго, — усаживаясь, забасил Борис Степанович, — мне на смену. Снова в Свердловск. То здесь в смену поставят, то в Сортировке: всё на подхвате. И не рыпнешься — пенсионер. Быстро под зад дадут, и гуляй Вася, а еще поработать хочется.

— А я вот никуда не спешу — я теперь птица вольная, хочу — бражку ставлю, хочу — лежу до обеда, хочу... — Анатолий Евсеевич что-то еще хотел сказать, но вдруг запнулся.

— Что ж ты мне каждый день спать не даешь? Еще до рассвета своими ведрами гремишь? Скотины полон двор: он до обеда спит, — передразнил друга Борис Степанович. — Кому другому расскажи. Ты вот сколь раз нынче на рыбалку ходил?

— Да пару раз выбирался.

— То-то, выбирался. А ране-то, помнишь? Как выходные совпадут, мы с тобой на Журавлиху. Лещей-то вó таскали, — он широко раскинул руки.

Анатолий Евсеевич взял воронку, поллитровую бутылку, кряхтя встал, пошел к буржуйке. Подложил дров в печку, слил первач. Анатолий Евсеевич раньше работал на железной дороге

диспетчером. Сутки отработает, двое дома. Держал всегда корову, поросенка. Да и как без скотины в небольшом поселке, где не все в магазине купишь. Времени на все хватало: и с хозяйством управиться, и в город съездить, и покутить иногда с друзьями, ну а рыбалка — святое дело. На месяц, а то и на три вперед с Борисом график составляли. Он свои дежурства берет, Борис — свои. И, бывало, не одну стопку пропустят неразлучные друзья, пока не выберут все совпадающие выходные. Жены против рыбалки не возражали: они тоже были подругами и брали заботы по дому на себя. По зрению и по возрасту Анатолий Евсевич вынужден был уйти, как говорят, на заслуженный отдых. Эх, не подвели бы глаза... Начальник согласен был оставить, но медики зарубили. Он со злостью пнул ненавистные очки указательным пальцем к переносице, громко поставил бутылку на стол.

— А ты не психуй, не психуй! Помнишь: «Выйду на пенсию — жить буду на Журавлихе», — передразнивая друга, бубнил Борис Степанович. — А где живешь? В хлеву! Всё, смотрю, на себя взял. Раньше одна корова была, а теперь? Стадо! Верка теперь и не подходит к скотине.

— Так она работает...

— И раньше работала, — Борису было жалко друга. Он знал, что тот тащил на своем горбу непутевых своих детей. Те совсем отбились от рук,

малышей настрогали, а толку. Помощи нет, только дай.

Разговор грозился перерасти в перебранку, и более дипломатичный Толян подвинул полную стопку своему вечному оппоненту. Они и раньше частенько ссорились по пустякам, и дулись друг на друга до смешного: не здоровались, не разговаривали по несколько дней. Мирил их календарь. И у Бориса Степановича, и у Анатолия Евсеевича на кухне висели большие настенные календари с обведенными датами. Кружочки совпадали. «Ты червей накопал?» — спросит басовито Борис. «А ты мотоцикл заправил?» — в ответ спросит Анатолий. Вот и помирились.

II

Борис Степанович зевнул широко, не прикрывая рот. Старик в темном окне беззвучно рыкнул. Фуражку он давно снял, и от этого отражение в окне потеряло принадлежность к нему. Чужое, изможденное лицо, страшные глаза, впадины под скулами, все напоминало Борису Степановичу прошедшие сутки. Он плохо помнил, о чем разговаривали они с другом. Помнил только, что снова поругались, потом помирились. Толян что-то про соседку, что через дорогу, говорил. А, вспомнил: снова сватал... Борис, пока был при памяти, порывался

домой отдохнуть перед сменой. Потом снова забывал. Разговор с другом уносил его далеко. Они в обнимку ходили подбрасывать в печку дров, сливали самогон в бутылки, носили в погреб, меняли воду в охлаждающем бачке.

Первач срубил быстро. Борис Степанович лег отдыхать не потому, что его растревожила сознательность, а просто потому, что пришло время... Сосед уложил его под навесом, прикрыл фуфайкой.

Теплый октябрьский день закончился, к вечеру похолодало. Чувство времени, выработанное годами работы на железке, и бодрящий холодок подняли Бориса Степановича почти вовремя. Он прикрыл рядом спящего друга, посмотрел на часы. Электричка через сорок минут. Только теперь он почувствовал, что его знобит. В голове носились рои пчел и еще всякой летающей и гудящей твари. Самогонный аппарат уже разобранный стоял рядом. Печка давно потухла. Борис Степанович на всякий случай потрогал ее холодный металл. Не случилось бы пожара. Он подошел к столу, налил полстопки, «поправил» здоровье. Собрал со стола остатки разбросанной пищи. Он привык не оставлять следов: скоро Верка явится и у Толяна могут появиться неприятности.

В электричку Борис Степанович запрыгивал уже на ходу. Тормозок, состоящий из остатков недавнего пира, он прихватил с собой. Под

перестук колес он «накрыл стол» прямо на деревянной скамье. Напротив спал мужичок в потрепанной одежде, у его ног стояла сумка с пустыми бутылками. На характерный звук мужичок среагировал, как машинист на сигнал бдительности. Он поднял нечесаную голову, жадно посмотрел на стакан, сглотнул.

— На, поправься, — крикнувши, протянул стакан Борис Степанович. В голове Бориса Степановича мешаниной запрыгали воспоминания сегодняшнего дня, далекой юности... То вдруг набежали внуки. Женька, озорник, уже теребил его уши, пытаясь укусить за нос... Тут же он оказался на Журавлихе. Перед глазами запрыгал поплавок, выкатилось огромное солнце. На лугу туман. Только тихо журчит родничок...

III

Электричка резко остановилась, Борис Степанович проснулся. Уже стемнело. Множество огней за окном подсказали ему, что он приехал. «Сортировка», — мелькнуло в мозгу. Борис Степанович пошарил рукой под скамьей. Тормозок исчез. Мужичка напротив тоже не было. Он как утормевший рванул к выходу, глядя на ходу колючую щетину. К медикам появляться нельзя — сразу на тепловоз.

Прыгая через рельсы, шпалы, Борис Степанович спешил к тепловозу. Часы показывали уже восемь. «Опаздываю. Сейчас тронется» Он не мог понять, что сделалось со временем. Он твердо знал, что должно быть только семь. Может, электричка опоздала. Заспал, не помню. Пулей заскочил Борис Степанович на тепловоз. Машинист удивленно посмотрел на него:

— Сказали — я сегодня в одно лицо. Тебя откуда направили? — машинист был тоже в возрасте и сразу начал на «ты».

— Я из Ревды.

— Ни хрена себе — уже из Ревды к нам гонят. Что поделаешь — у нас с помощниками завал. Василий, — он подал руку.

— Борис.

— Ты медика проходил? Что-то ты вроде...

— Похороны у нас в поселке. Помогал, — соврал Борис Степанович.

— Да я ничего. Пойди глянь давление.

Борис Степанович сходил в машинное отделение, снял показания манометра, пришел, доложил:

— Четверочка, все нормально.

Потом он взял ветошь и пошел протирать двигатель, поручни, стекло.

— Что значит старая гвардия, — довольно говорил машинист, — а теперь молодежь не заставишь за вехотку взяться. Лентяи.

Диспетчер по радиации прочитала приказ на выполнение работ.

— Понял, на двенадцатый путь... Приказ номер 25. Машинист Михеев. Диспетчер Богачева.

Борис Степанович без напоминания машиниста взял журнал, отметил:

— Восемь двадцать пять, — как и положено, вслух прокомментировал он запись.

Шла обычная работа. Василий Михеев, настороженно встретивший Бориса, теперь был доволен. Все он выполнял, как нужно, без напоминаний. Дублировал команды, вовремя следил за приборами. Поставил чай, извинился, что нет заварки и сахара — сперли тормозок в электричке. С кем не бывает. Заварка в тепловозе была, она передавалась из смены в смену. Сахар, печенье Василий выложил на столик.

Борис Степанович уже который раз ловил себя на мысли, что здесь что-то не так. Куда-то девался час времени, почему-то локомотивное депо близко и как будто стало меньше. Михеева он не знал, хотя большинство маневровых машинистов были ему знакомы. Может, просто в одну смену не попадали. Был когда-то Михеев Николай машинист, так он уже лет десять как на пенсии.

— Давно работаешь? — пошел в разведку Борис Степанович.

— Тридцать третий годок.

— А я уже тридцать шесть лет отпахал и все на одном месте. Думал, что всех машинистов знаю, а вот же... Я ведь год как к вам езжу. И раньше по несколько месяцев бывало.... А Николай Михеев тебе не родня? Машинистом тоже работал, на пенсии сейчас.

Теперь пришла пора удивиться Василию. Странно, думал он, первый раз слышу, чтобы к нам из Ревды помощников присылали. А может, не попадал в смену, вот и не знал. И Михеева Николая он не знал. Странно.

Когда проезжали мимо песочницы, Борис Степанович не выдержал:

— Как это песочница здесь оказалась?

— Она всю жизнь здесь. У тебя после похорон башка точно набекрень, — по-доброму засмеялся Василий.

— Диспетчер новенькая, что ли? — снова щупал Борис Степанович.

— Светка? Да она бабушкой стала на этой должности.

Диспетчеров на Сортировке Борис Степанович знал всех. Светланы Богачевой он не помнил. Поступила команда тащить полувагоны в западную горловину. Проезжая вокзал, Борис Степанович прочитал: «Асбест».

— Что с тобой? — спросил Василий.

— Ничего, только почему по этому пути? — сморозил что взбрело в голову Борис Степанович,

упираясь лбом в холодное боковое стекло. Его широкие глаза, отвисшая челюсть вызвали снисходительную улыбку Василия.

— Ты же сам слышал приказ диспетчера. Ну, паря, у тебя действительно сегодня в голове базар. Слушай, Борис, сейчас подадим полувагоны под погрузку, и ты можешь быть свободен. Отдохнуть тебе нужно. Дальше работы уже не будет до самого утра.

В душе Борис Степанович аж подпрыгнул.

— Спасибо, друг. У меня действительно что-то крыша поехала. А когда последняя электричка на Дружинине?

— Через... двадцать... пять минут, — Василий смотрел на часы. — Я сейчас тормозну, ты выскакивай, еще успеешь. А я сам подам. Больше работы все равно не будет. Маршрутный лист я отмечу. Фамилия-то твоя как?

— Копытов Борис Степанович!

— Чудной, — подумал вслух Василий, наблюдая, как прыгал через рельсы его помощник. — Успеешь! — кричал ему вдогонку, трогаясь с места.

— Дурак! Старый идиот! — вслух обзывал себя Борис Степанович на ходу. Почти смену отпахал в Асбесте. А в Сортировке прогул. Выгнют. Инструктор уже предупреждал. Ну и черт с ними. Я уже свое отработал. Все, о работе ни слова! Домой!

Борьба со сном продолжалась. Как назло поговорить не с кем. А смотря на храпящих, редко рассаженных пассажиров, рот сам растягивался, глаза невидяще таращились в окно. Ну и рожа! Чисто Будулай! Борис Степанович прошелся по вагону, пересчитал пассажиров: их оказалось шесть человек. Все спали. Чем еще заняться? Снова сел на деревянную, отполированную штанами лавку. У того, что у дверей, пиво в пакете. Оно повалилось на пол, каталось в ногах. Пять или шесть бутылок. Но не будешь же будить человека только потому, что приспичило пить. А может, разбудить? Я бы понял и не обиделся. Разбужу, деньги есть — заплачу.

Борис Степанович снова пошел по вагону, только теперь он шел целенаправленно. Он тронул за плечо спящего мужчину средних лет, тот не реагировал. Потряс за плечо сильнее, потом тряхнул с силой. Мужчина открыл посоловелые глаза.

— Приехали? Где мы? — пьяно спросил он.

— Тебе куда?

— До конца.

— Еще долго. Слушай, пива продай. Душа горит.

— Ты че? Это тебе че — магазин? Бери... пей! Понимаю... — он снова уронил голову и уснул.

Борис Степанович взял бутылку, положил вместо нее в пакет рубль. Пиво оказалось холодным. Приятная волна прошла по телу. В мозгах просветлело. Теперь происшедшее с ним в Асбесте казалось очередным забавным эпизодом его жизни. Он улыбался, смотря в окно. Сколько с ним всего происходило... Темное окно в полутонах, грубыми мазками, нечетко вырисовывало его небритое лицо. Он не находил его страшным. Ну, побриться, постричься, и еще ничего. Борис Степанович еще нравился женщинам.

Приеду домой, зайду к Зое, пусть переходит ко мне. Встречаемся уже пять лет и не решим где жить, под чьей крышей. От людей стыдно: не молодые уже по свиданиям бегать. Ее домик продадим. Мой и просторнее, и огород больше, стайку недавно починил. С работой всё... Выгонят. Да я и сам уйду. Купим корову, поросенка... Борис Степанович вспомнил друга-соседа. От Верки, наверное, досталось... А мне от начальства достанется.

И снова его унесло на Журавлиху... Поплавок запрыгал, морща водную гладь. Клюет, клюет... Подсекать нужно. Он дернул мнимую удочку и проснулся. Что-то нехорошее шевельнулось в груди Бориса Степановича. Он громко сглотнул сухой ком. Из открытых дверей потянуло осенней прохладой.

— Конечная, выходите, — громкоскомандовала какая-то женщина. В вагоне остался толь-

ко мужик с пивом и он. Женщина поставила ведро и стала мести веником вдоль центрального прохода, как бы подгоняя Бориса Степановича.

— Ё-кэ-лэ-мэ-не! — почесал он затылок. — Одна беда не ходит.

V

Он сжал кулаки, втянул ноздрями бодрящий воздух, громко выдохнул. Второй час ночи. Домой добираться нечем. Что за напасть сегодня, прямо Бермудский треугольник. Вокзал на ночь закрывался с приходом последней электрички, и как Борис Степанович ни уговаривал старушку войти в положение и разрешить скоротать ночку на лавочке в маленьком вокзальчике, та была непреклонна. Не помогло даже удостоверение железнодорожника.

— Железнодорожники такие не бывают, бандюган. Хуражку еще натянул. Будешь шарaboшиться тутa — живо милицию позову. Ишь, докúмент сует. Знаем мы эти докúменты! — старушка в слове документ ударение ставила на втором слогe, что развеселило Бориса Степановича.

— Докúмент ей не нравится, — передразнил старушку он и побрел бесцельно в поселок.

Он знал, что спорить с «божьим одуванчиком» бесполезно. Нужно искать ночлег. Может,

кто пустит. У Бориса Степановича в поселке жил друг, но явиться его супруге на глаза в таком виде нельзя. Она и так его не шибко жаловала, считая, что он, окаянный, сбивает ее Мишку с пути истинного. Еще ей не нравилось, что Борис, пользуясь своей свободой, заглядывал в гости к соседке, и та после таких визитов обычно весело напевала, управляясь по хозяйству. Поросшая мхом ревность ее все еще тревожила. В молодости она и сама была к нему равнодушна.

К Марии тоже нельзя: сын вернулся из армии. Думай, думай, Борис, подгонял он себя, бесцельно шагая по пустынной улице.

Вдруг, оторвав взгляд от дороги, он увидел свет в окошке деревянной избы. Входная дверь была отворена, в сенях горела тусклая лампочка, с фасада оба окна тоже светились. Ноги сами понесли Бориса Степановича на свет. Он ничего не думал, не знал, что скажет хозяевам, ни на что не надеялся и вообще им овладело полное равнодушие, внутри было пусто и тихо, как в склепе.

Дверь в сенях отворилась со скрипом. Прямо посредине горницы стоял гроб. Острый нос покойника откидывал двойную тень: одна — от тусклой двадцатипятиваттной лампочки неподвижно легла на одну половину его бледного лица, другая, от свечки, блуждала по подбородку, задевая руки, скрещенные на груди. Свечка располагалась за головой покойного, и ее огонь колыхал-

ся от дыхания старушки, читавшей молитву. Борис Степанович хотел дать задний ход, но было поздно. Старушка подняла на скрип глаза. Она не удивилась позднему визиту.

— Здравствуйте, — голос Бориса Степановича звучал скорбно.

— Здравствуйте, — на глазах старушки появились слезы, подбородок ее задрожал, она поднесла к глазам платок. — Помер наш Прокопий Кириллович, — продолжала она тихо уже заученный текст. — Тихо помер: лег и не проснулся. Не мучился сам и других не мучил, добрая душа. Царство ему небесное, — она перекрестилась. — Я сейчас Ивана Кирилловича позову.

В дверях появился бородатый мужик. Шаркающей походкой он подошел к Борису Степановичу, подал руку.

— Вот видишь. Живешь, живешь... а ведь он младший. Вперед поспешил... Нехорошо. Откуда приехал? — глаза его увлажнились.

— Из Асбеста, — не соврал Борис Степанович и опустил глаза.

— Так-так... Меня Иваном звать, я брат его буду. Старший. На три года меня младше Прошато. Пспешил, пспешил... — Иван Кириллович кивнул в сторону гроба, скорбно покачал головой.

— Борис Степанович я. Знал вашего брата, — Борис Степанович еще ниже опустил голову. «Одна беда не ходит, — подумал он, — накаркал».

— Хорошо, что друзья помнят. Хорошо... Борис, значит? А что, Борис, устал? Пойдем.

В другой комнате, видимо служившей хозяевам спальней, справа стоял разобранный диван. Кто-то спал, прислонившись к самой стенке, тихо похрапывая. Комната перегорожена пополам. За сатиновой перегородкой слышалось сопение, скрипнула кровать.

— Здесь будешь спать, — Иван Кириллович указал на диван, — а сейчас пойдем на кухню, чаем напою с дороги-то.

Они снова прошаркали через горницу и повернули на кухню. Проем на кухню был занавешен белой простыней. Борис Степанович только теперь понял, почему он сразу не заметил вход в кухню. В горнице телевизор, трюмо были тоже накрыты простынями. Оказавшись на кухне, Иван Кириллович преобразился. Он потерял ладони:

— Тебе с устатку бы надобно... маленько. Продрог ты, смотрю. Я сейчас.

Шаркающие шаги удалялись в сторону спальни. Слышался низкий с хрипотцой женский голос, через какое-то время снова. Иван Кириллович, видимо, говорил шепотом, его слышно не было. По тону произносимых фраз женщиной Борис Степанович понял, что Иван Кириллович не уговорил хранительницу запасов. Без сомнения, эти запасы были в надежных ру-

ках за сатиновой занавеской. Иван Кириллович скоро вернулся с озабоченным лицом.

— Мне как-то неловко, да и неохота, — гость не врал. Ему хотелось добраться до диванчика.

— Ничего, ничего... ты не беспокойся, — сказал Иван Кириллович, — мы, разведчики, знаем где, что и почем.

Он достал карандаш, вырвал из засаленной тетрадки лист бумаги и стал писать: «Дуся, дай Ивану бутылку водки. Приехал Борис Степанович из Асбеста, родня Проши. Клава». Борис Степанович смотрел, как старательно женским почерком выводит буквы Иван Кириллович, и удивлялся находчивости нового знакомого. А тот с хитрой улыбкой свернул лист вчетверо и быстро вышел, уже не шаркая ногами.

Разговор затянулся до утра. Уже с рассветом, не без помощи Клавы, Борис Степанович в обнимку с новым родственником улеглись отдыхать. Так в обнимку они и проснулись от Клавиных тычков и голосов в горнице. Собирался народ на похороны. Борис Степанович вместе с другими мужчинами выносил покойника на улицу. Несли до конца улицы, там ждала машина. Сердце трепыхалось перепелкой, пот валил градом, во рту пересохло. И не уйдешь. Для одних он теперь родственник, другим — друг покойного. Иван шел впереди. Тяжело дыша и кряхтя, он то и дело

свободной рукой смахивал пот со лба. Похоронили быстро. Вдова поголосила, как водится, бабы поревели, жалеючи ее.

Сразу после поминок Борис Степанович за-собирался. Он чувствовал себя не в своей тарелке и боялся, что снова влипнет в какую-нибудь историю. Его как будто ведун хороводил последние двое суток. Он словно себе не принадлежал. Все случилось помимо его воли, и это пугало Бориса Степановича.

На уходящую электричку он посмотрел с ненавистью и злостью. Его покачивало от усталости и недосыпания.

— Автобусом поеду — надежней.

В автобусе рядом села женщина из его поселка. «Теперь не просплю», — только и успел подумать Борис Степанович.

Дома. Наконец-то. По-родному скрипнули половицы. Борис Степанович включил свет, сходил за дровами, проведal собаку. У пса в миске осталась зализанная каша. Сосед. Затопил печку, сел на низкую скамеечку и, глядя на набирающий силу огонь, задумался. Кот спиной терся о штанину и громко мурлыкал, преданно заглядывая ему в лицо. Глухо хлопнула калитка, слышались знакомые шаги. В груди что-то шевельнулось и разлилось благодатью по всему телу. Печка, истосковавшись по сухим дровам, весело запела.

— Ты где пропадал двое суток? Я уже в депо звонил... Верка у меня дома. — Толян воровски оглянулся на порог и поставил сверток на стол. — Тут и закусочка. Голодный, поди?

— Да как сказать... Ты баньку, случаем, не топил?

— Она у меня завсегда теплая: скотине вода теплая нужна. Хочешь париться — подброшу.

— Мне не до парилки.

— Так вот, звоню, значит, в депо, а они: «его не было». Я говорю: «он уехал», а они: «значит, не доехал...»

— Переехал я, Толян... два раза. Одна беда не ходит. — Борис Степанович почему-то широко улыбнулся и похлопал друга по плечу.



Сюрприз

Кто не знает Пал Саныча? Нет такого человека на железнодорожных дачах. Если вы спросите, где дача Павла Александровича Коростылева, то никто вам не скажет. И вам не суждено будет найти его резной домик, сделанный своими руками, не увидеть вам его ухоженного садика. Потому, что все его знают, как Пал Саныча. Обычно произносят одним словом Палсаныч. Фамилии его никто не помнит. Он уже давно на пенсии, но выглядит еще молодцевато. Седая, всегда аккуратно причесанная шевелюра — это, пожалуй, все, что выдает его возраст. Ходит он прямо, бодрой, энергичной походкой, и, увидев его со спины с покрытой головой, подумаешь, что шагает юноша: ни шаркаю-

щей походки, ни скованности в движениях не замечается. Напротив, случайно можно заметить, как он подбрасывает нож, подкручивая его, и ловит ловко за ручку после двух-трех вращений, или, чтобы поднять с земли какой-то предмет, он накатывает его одной ногой на носок другого ботинка и, ловко подбрасывая футбольным приемом, хватает рукой, залихватски протаскивая впереди себя. Его неугомонность и непоседливость не позволяют «завязаться жирку». Он сухощав, но не астеничен, пожалуй, у него крепкая фигура, но средний рост делает его скорее коренастым крепышом, чем могучим богатырем.

Пал Саныч по всему лету с женой Верой Ивановной на дачах обретаются. Городская жизнь им за зиму надоест как горькая редька, и они, как только день на прибавку пойдет, начинают собираться: то надо и это. Вера Ивановна семена перебирает по десять раз на дню. Пал Саныч по магазинам бегаёт, разные там удобрения выискивает, инструмент подкапливает, где дощечку-планочку подберет: в хозяйстве все согдится. Чтобы урожай хороший вырастить, покрутиться нужно.

И в это лето, как обычно, на даче Пал Саныча все растёт, цветёт, созревает. Малина вдоль забора в три ряда выстроилась, словно напоказ высыпала крупными ягодами. Клубника сочной

зеленью укрыла пригорок за деревянным домиком. Цветник перед домом притягивает взгляд прохожего своей пестротой, ухоженностью. Ровными рядами грядки выстроились вдоль дорожки. Дача-то у Пал Саныча на углу в первом ряду от ручья, так что, почитай, никто мимо не пройдет. Спускаясь к роднику, каждый остановится и полюбуется такой красотой.

— А что, Пал Саныч, дашь малины на рассаду? — спрашивает сосед, что через два дома вниз по улице. Он рад, что представилась возможность передохнуть, и, поставив тяжелые сумки, облокотился на забор.

— Отчего ж не дать. Приходи осенью, накопай сколь тебе нужно, все равно прореживать буду: вона как разрослась, в картошку лезет. Поезд, я гляжу, опоздал....

— Сегодня «окно» — шпалы меняют на тридцать четвертом километре, — сосед еще работает на железной дороге и знает график работ путевых рабочих.

— Пора, пора менять. А то намедни ходил за грибами вдоль железки, так одно гнилье, а не шпалы. Так и до беды недалеко. В ранешние времена за такие дела... — Пал Саныч почесал затылок.

— Кабачки у тебя вон как разрослись. Какой сорт, если не секрет?

— Нету здесь никакого секрета — цукини. Но ты смотришь на гряду, а ничегосеньки не ви-

дишь: я нынче арбузы вырастил, — Пал Саныч хитро прищурился.

— Да, что ты его слушаешь... — хотела встрять в разговор Вера Ивановна.

— Вера Ивановна меня все ругает, что ты, мол, зря упираешься, — Пал Саныч повернулся к жене и стал подмигивать, затараторил, не давая возможности ей испортить дело, — а мне вот интересно стало. Посадил два семечка, потом рассадой на гряде. День и ночь не отхожу. Ночью накрываю, на день открываю, на ночь закрываю, на день открываю....

Вера Ивановна махнула рукой, что-то проворчала и направилась в домик. Сосед только теперь заметил на гряде рядом с продолговатым кабачком полосатый арбуз. Он блестящим своим округлым боком выглядывал из густой тени больших резных листьев еще не созревших патиссонов, соседствовавших с кабачками. Пал Саныч с удовольствием наблюдал, как часто захлопал глазами сосед, как вытянулась его физиономия. Совершенно растерявшаяся жена соседа Анна Даниловна, стоявшая пока незаметно за спиной своего мужа, не выдержала:

— У людей-то все растет, а у тебя и морковки нынче не будет, — пробудилась она после потрясения.

Пал Саныч уже пожалел, что показал им арбуз: он не любил, когда его ставили в пример

соседки своим мужьям, но, с другой стороны, если Анна Даниловна знает про арбуз, то можно быть спокойным, что затея его удалась.

— Я сегодня прорывать буду морковь, так что, Роман, подходи. У меня тоже в прошлом году плохо морковь взошла, так я рассадой сажал. У Володи брал. Только в воде держать нужно морковь до посадки.

Пал Саныч уже не знал, как загладить свою вину перед Романом.

— Ё-кэ-лэ-мэ-не, ни разу не видел, чтобы на севере арбузы выращивали, — не обращая внимания на слова жены и Пал Саныча, выдавил из себя Роман. Он неотрывно смотрел на полосатую округлость в густой зелени.

— Состарился, а ума у тебя так и не прибавилось, — ворчит за чаем на своего мужа Вера Ивановна. — Пошто людям голову морочишь? Анна сейчас вусмерть запилит своего.

— Так ведь завтра утром дочь да внучка наша Олечка приедет, я им сюрприз приготовил, да и так пошутить хотел....

— Пошутить.... Сейчас по всему поселку слава пойдет.

— Ну и ладно, ну и хорошо, — Пал Саныч улыбнулся и потер ладони. — А вон уже и первые посетители, — он, хихикнув, показал пальцем в окно.

Там у забора стояли две женщины и, красочно жестикулируя и покачивая от удивления головами, о чем-то разговаривали. Вера Ивановна, увидев их в окно, прижалась к стене, боясь, что ее увидят соседки.

— Что, схлопотал, старый пень? — уже не на шутку разошлась Вера Ивановна. — Теперь на улицу не покажешься. От стыда можно провалиться. Шутник. Когда ты уже ума наберешься? — она вдруг оттолкнулась от стены и, немного поколебавшись, вышла на крыльцо.

— Здравствуй, Вера! А мы тут с Петровной мимо шли, случайно увидели арбуз на гряде. Ей-богу, впервой вижу в наших краях, чтобы арбузы выращивали. Если бы кто рассказал — не поверила бы. А вот же, — и она показала на арбуз. Она тараторила с такой быстротой, что Вера Ивановна не имела никакой возможности вставить хоть слово.

— Прямо смотрю и думаю: вот мужик тебе попал, дай ему бог здоровья.

— Все-то у него ладится. За что ни возьмется, все ладом получается. Не то что наши оболтусы... Золотые руки у твоего...

— Пообрывать бы ему эти руки... — Вера Ивановна не успела закончить начатую фразу, как Пал Саныч вышел вперед, заслонив жену.

— Вере не нравится, что я с этими арбузами вожусь день и ночь. Другие дела все запустил, —

нарочно громко и быстро начал Пал Саныч, — вот и ругает меня по-всякому. А с ними столько возни: днем открой, на ночь закрой. Днем открой, на ночь закрой. Теплолюбивые шибко... — начал он уже знакомую песню, оттесняя жену.

Вера Ивановна от злости стукнула своими женскими кулачками мужа по спине и заскочила в домик. Он даже не почувствовал удара.

Потом потянулись за водой к роднику дачники из верхних дач — и почему-то непременно мимо Пал Саныча, и непременно отдышаться останавливаются на углу у навозной гряды, где сквозь листья патиссонов выглядывает чудо-арбуз.

— Такое впечатление, будто у всех враз вода кончилась или жажда их замучила, — стал уже раздражаться и Пал Саныч.

Ему тоже не хотелось выходить на улицу и каждому зеваке врать одно и то же. Врать он не любил. Пошутить — дело другое. Бывало, страдал он от своих проделок, а иногда его находчивость и на пользу приходилась.

Как-то нужно было собрать дачников на собрание, чтобы договориться о ремонте линии электропередачи. Электрики написали предписание с требованием поставить к столбам «пасынки»: линия-то старая — вот-вот столбы падают. Отключить электроэнергию — дело нехитрое, попробуй потом включить. Сколько бумаги измарать нужно и времени извести. Несколько раз

пытались собраться народом — и никак. А Пал Саныч смог собрать. Он на здании вокзала повесил объявление, что приезжает начальник отделения дороги и будет решаться вопрос остановки поездов в дачном поселке. И приписал, что если не будет «кворума», то встреча не состоится и остановку отменяют. Пришли все.

— Сиди теперь в избе, пенек старый. Дошутился, — уже успокоившись, ворчит Вера Ивановна. Она достала вязание и, ловко вертя спицами, время от времени поглядывает в окно.

— Полюбуйся, уже смеркается, а там снова кто-то стоит, — уже улыбаясь, говорит Вера Ивановна, и ее руки автоматически скидывают, набрасывают петли, подтягивают нитку из клубка.

Пал Саныч наточил все ножи, навел порядок в кладовке. Разложил инструменты по местам. Раньше времени на такую работу не хватало, а тут его «случайное» затворничество на целый день заставило заняться этой нудной работой. Выходить на улицу ему не хотелось.

— Паша, занеси арбуз домой от греха подалее. Вся деревня знает. Неровен час, унесет кто-нибудь... Пошутит, — добавила Вера Ивановна и хмыкнула, — и внучке не достанется.

— Поезд прибывает в пять утра. Просплю и не успею положить его на грядку, а хочется сюрприз Оленьке... Представляешь лицо Наташки, зятя? Да они опупеют все.

— Когда у тебя уже ума прибавится? Седой, а все приколы ему... — Вера Ивановна пошла спать.

Еще долго возился Пал Саныч с инструментами, починил часы, подшил валенки, переделал много еще всякой мелкой работы. Он несколько раз в темноте выходил на улицу, бродил вокруг домика, потом прошелся вниз по улице до самого ручья, вернулся, присел на крыльцо. И только когда ночной холод выбил первую дрожь в теле и гусиная кожа неприятной волной пробежала по озябшему телу, Пал Саныч, съезжившись, зашел в избу. Сел у окна и долго всматривался в темноту.

В начале августа ночи прибавляли в свою копилку по кусочку темноты и прохлады. Пал Саныч замечал, что зелень окружающего леса потускнела, вода в реке упала, обнажив болотистые берега, пески на поворотах. По утрам густой туман укрывал реку и всю пойму мягким и нежным покрывалом. Все напоминало о приближающейся осени.

Туман упадет на землю — будет ведро, а если поднимется вверх — к дождю. Так когда-то говаривали старые люди. Но сколько ни пытался проследить, никак не удавалось Пал Санычу заметить, куда девается туман. Когда идет дождь, он вытягивает трубочкой губы, делает загадочно-умное лицо и говорит:

— Туман утром кверху поднялся, вот и дождиком нас порадовал — поливать не нужно грядки.

В жаркий день он, раскручивая шланги для полива, ворчит:

— С утра туман книзу пал — ведро будет.

Он еще раз посмотрел в окно. Густая темень не просматривалась. Выходить на улицу не хотелось. «Может, занести арбуз домой?» — подбиралась предательская мысль. Но как же сюрприз? Пал Саныч прилег на край кровати и тут же крепко уснул.

Сквозь пробуждающееся сознание прорываются непривычные звуки, громкий смех, топот детских ног, хлопанье дверей. Надоедливая муха ползает по щеке. Пал Саныч смахивает ее, но она снова садится, теперь на лоб.

— Деда, вставай! Я уже устала тебя ждать, — Оленька громко смеется.

Семилетняя девочка в легком платьице щекочет его гусиным пером.

— Ах ты, проказница, — Пал Саныч обнимает внучку. Та вырывается и стаскивает его с кровати, не выпуская его шершавую руку.

Солнце уже высоко. В небе ни тучки. Начинается теплый летний день. Дачники уже давно начали свой обычный выходной, ползая на четвереньках в своих огородах. Отдыхают.

— Туман на землю пал — ведро будет, — по привычке сказал Пал Саныч, выйдя на улицу. Он прошелся по тропинке вдоль грядок и, стараясь не поворачивать головы, скосил до боли глаза на грядку. Арбуза не было! Он развернулся на месте, еще раз взглянув на прореху, образованную им же вчера промеж широкой листвы.

— Откуда ты знаешь, куда туман девался? Проспал все, — заворчала Вера Ивановна, — шутник, — добавила она и хмыкнула.

Пал Саныча взяла тревога. Дочь с зятем собирали малину, повесив берестяные кузовки на шею, и о чем-то весело разговаривали, похохатывая. Жена чистила свежую картошку, морковку, напевая свою любимую песенку. На металлической буржуйке, что притулилась между смородиновыми кустами, кипел суп. Внучка легко слетела с крыльца, остановилась у скамейки, там у нее по-магазинному стояли разные игрушки.

«Что за оказия, будь она неладна? Где ж арбуз?» Ситуация интересная получалась: спросить он не решался, надеясь, что все само собой разрешится.

— Привет, ребята! — крикнул он, стараясь казаться равнодушным ко всему происходящему.

— Привет, пап, — как бы между прочим крикнула Наташа.

— Привет, Пал Саныч, — весело поздоровался Михаил.





Каждый занимался своим делом. Пал Саныч взял тяпку и начал высекать поросшую вдоль дорожки траву. Более бесполезной работы и придумать нельзя.

— Ты бы грядками занялся, морковку прорвал бы. Травой занялся. Делать, что ли, нечего? — заворчала Вера Ивановна, видя, что муж ее вроде как сам не свой. Ей так и хотелось сегодня выместить все наболевшее за вчерашний день. Не так часто можно было видеть растерянность Пал Саныча.

— Вечером прорву. Сосед хотел морковку посадить. Пусть жара спадет, а то не примется, — Пал Саныч отвечал вяло. Нет звонкости и уверенности в голосе. Глаза в сотый раз выхватывают пустоту на гряде в тени густой листвы кабачков и патиссонов.

Пал Саныч подождал, когда все семейство скрылось в домике на призывы Веры Ивановны ужинать. Оставшись один на улице, он быстро подошел к гряде и, раздвинув широкие, с мелкими колючками, листья, внимательно осмотрел пустующее место. Ему целый день не давала покоя мысль, что арбуз закатился в тень и его просто не видно. Арбуза не было.

— Кто же меня за нос водит? Соседи — в отместку за розыгрыш или Вера Ивановна? — Он иногда называл жену, бывшую учительницу, по имени-отчеству.

Медленно поднявшись на крыльцо по крутым ступеням, он еще раз бросил взгляд на гряде.

Запах свеженарезанного арбуза ударил в нос резко и отрезвляюще. Пал Саныч даже замер в открытой двери. Затем с победоносной улыбкой вошел в большую комнату, где был накрыт стол для всего семейства. На тумбочке в стороне от стола с тарелками парящего супа в большом блюде лежал нарезанный спелый арбуз. Своим алым нутром он привлекал взгляд хозяина. За ужином много болтали, смеялись, внучка громко хохотала. Настроение у Пал Саныча тоже было приподнятым и, когда пришла пора десерта, он взял огромное блюдо с разрезанным арбузом и поставил на освободившееся место посредине стола. И тут он понял, что это не его арбуз. Тот был значительно меньше.

— Ешь, деда, мы с папой вместе выбирали. Папа вот так сжал и сказал, что арбуз спелый. Когда арбуз спелый, он трещит. А можно еще постучать. Если громко звенит, значит, он внутри красный и сладкий. — Оленька громко тараторила и смотрела на деда, улыбаясь своей очаровательной улыбкой, и даже щербинка от выпавшего зуба не портила ее.

— Вкусно, молодцы, умеете выбирать, — Пал Саныч тоже улыбнулся и подумал: «Хорошо, что они догадались взять арбуз». Про свой он ре-

шил молчать. Посмотрел на Веру Ивановну, но жена в это время выковыривала семечки ножом и не заметила этого намекающего взгляда.

— Оля у вас останется на неделю, — сказала Наташа.

— Деда, ты рад?

— Конечно, еще как! Мы с тобой за грибами ходить будем.

— И на рыбалку. Я щук хочу ловить. Помнишь, как мы в прошлом году во-о-от такую поймали? — и она раскинула руки, как делал обычно дед, хвастаясь своими уловами.

— Помню. И еще поймает.

— Чисто дед, так же хвастает, — не замедлила отреагировать на внучкин жест Вера Ивановна. — Щучка там была чуть больше вот этого ножа.

— Что ты понимаешь, бабушка? — Оленька укоризненно посмотрела на Веру Ивановну.

Пока Пал Саныч с Верой Ивановной убрали со стола, Оля вслед за своими родителями выбежала на улицу.

— Деда, выходи, — кричала она в окно, — у меня для тебя сюрприз!

Пал Саныч долго не мог найти внучку. И только когда Оленька не выдержала и хихикнула, он увидел шевелящиеся кусты малины.

— Вот ты где, проказница! — он поднял ее над кустами.

— Пусти, я тебе что-то покажу. Посмотри под этот кустик, — и Оля отклонила в сторону крупные листья клубники. Полосатой боочиной блеснул знакомый арбуз.

— Ну что, деда, один — ноль? — и Оленька громко захохотала. Незаметно подошла Вера Ивановна.

— Яблочко от яблоньки недалеко падает, — сказала она мягко и улыбнулась. — Давайте сюда свой сюрприз. Шутники.



Полезный совет

Окно, затянутое кружевами, к середине стекла теряло прозрачность. Нина Ивановна смотрела в узкую прозрачную полосу вдоль рамы на многоэтажные дома, выкрашенные разноцветными красками. Изображение дрожало, выгибалось замысловатыми волнами. Крупные слезы скатывались по ее красивому лицу темными ручейками, смывая тушь. Уже давно она так не плакала. Обида сдавливала горло противным комком, плечи ее вздрагивали. Это была не банальная истерика, а то тихое и томное состояние женской души, когда себя жалко до слез. Дома никого не было, и она дала волю слезам. Столик, за которым она сидела, упирался в повлажневший от внезапно наступившей оттепели подоконник. Окна, плотно

законопаченные на зиму, не пропускали звуков, доносился лишь слабый гул разномастных машин. Потеплело, и все машины, словно на разминку после сорокаградусных морозов, выползли на потемневшую улицу. Слезы снова и снова накатывали волнами, отдаваясь щемящими судорогами в груди. Два мутных ручейка, встречаясь на подбородке, полновесными темными каплями падали на лист бумаги чуть ниже незавершенной фразы. Промокнув глаза платочком, снова прочла написанное:

«Заведующему городским отделом здравоохранения...» Фамилии заведующего Нина Ивановна не знала и на этом запнулась. Никогда Нина Ивановна его не видела, и сейчас он представлялся ей суровым дядькой со сверкающими строгими глазами, огромными кулаками и громким рыкающим, как у генерала, голосом.

По дороге из поликлиники домой в голове Нины Ивановны слова четко выстраивались в стройные предложения и фразы, которые принимали облик законченного письма-жалобы на этого «так называемого» врача, которого ей порекомендовала подруга Ираида Васильевна, работающая у «грубияна, каких свет не видал» медсестрой. «Не место таким извергам в больницах нашего города, недостойн он высокого звания врача...» Именно так она напишет. Узнает еще этот хваленый Петр Кузьмич, как «издеваться над

больной женщиной». Она будет требовать от завздрава «принять строгие меры вплоть до...». Тут Нина Ивановна представила себе грозного начальника «недостойного» Петра Кузьмича с багровым лицом от злости. Вот он заносит кулак и громко стучит по столу: «Вы нарушили клятву Гиппократ-а! Вам не место!.. Вы не достойны!.. Вы обидели тяжело больную женщину! Грубиян!». Уже видится обиженной женщине, как начальник вырывает из рук «грубияна» диплом, а тот, стоя на коленях, просит у нее прощения. Нина Ивановна царственно восседает в удобном кабинетном кресле с подлокотниками, похожем на трон, который она ви-дела в Эрмитаже. Ей тогда захотелось сесть на тот трон и сфотографироваться. Она даже предлагала деньги старенькой смотрительнице музея, но зай-ти за натянутый шнур ей не разрешили. Нина Ива-новна тогда потеряла интерес ко всем экспонатам и убежала в гостиницу. Ей представлялось, как жал-кий докторишка валяется у царственных ее ног, тянет к ней дрожащие руки. «Не вели казнить, ма-тушка!» — слышится ей. Но царица настроена ре-шительно. Опухшие глаза закрываются, слезы но-вой волной хлынули в мутное озерко на недописанном листе.

У доктора городской поликлиники Петра Кузьмича сегодня тяжелый день. Оттепель случи-лась накануне Нового года, и больных на прием

пришло много. Перед Новым годом всегда много больных. Дисциплинированные «хроники» пришли запастись рецептом «на всякий случай» перед многодневными праздниками; другие — внезапно заболели «острыми респираторными», третьи — как всегда, «заболевают» дежурными радикулитами, гастритами и, пользуясь занятостью врача, в плотном потоке пациентов добиваются долгожданного больничного листа.

Нина Ивановна сидела в стороне. Она боялась, чтобы кто-нибудь не чихнул на нее «заразой». В очередях она стоять не любила. Положение в обществе, а работала она заведующей столовой, позволяло надеяться на некоторую снисходительность ее постоянных клиентов. Вот и ее подруга Ираида Васильевна, медсестра, пригласила ее на прием к «своему» доктору и обещала вызвать. Доктора ей советовали и соседи и сослуживцы.

На работе она частенько срывалась. Раздражительность и нервозность начальницы уже давно стала в столовой притчей во языцех. Еще свежи у всех воспоминания о том дне, когда недавно заведующая закатила истерику, обвинив бухгалтера и поваров в головотяпстве: потерялась накладная на продукты. «Вы меня по миру пустите», — топала она ногами, швыряла на пол калькуляции, товарные накладные в кабинете бухгалтера, всех довела до слез. Накладная оказа-

лась в ее папке. Извинений от нее не дождались, и в конце концов ее простили. Да и как не простить — начальник. Когда Нина Ивановна заговорила речь о своем плохом самочувствии, о том, что «вся не могу», девчата наперебой советовали обратиться к доктору, ожидая чуда с таким же нетерпением, как и «больная».

— Извините, — почтительно обращаясь к очереди, сказала Ираида Васильевна, — у нас больная с острым приступом. Прошу вас, Хрипунова, — и медсестра жестом указала путь до открытой двери.

Никто в очереди не возмутился. Многие знали Нину Ивановну и ссориться с «кормилицей» не хотели. В коридоре снова воцарилась та почтительная тишина, какая бывает у двери врача и перед причастием в храме. Каждый знал, что ему сегодня перепадет кусочек благодати. В такие минуты не спешат и не оскверняют свои уста злословием и словоблудием. Вызвали, значит, так нужно, придет и моя очередь. Никто не торопил доктора, знали, что и его Петр Кузьмич не обделит вниманием, и для него найдет доброе слово. На часы никто не смотрел: доктор всегда принимал «до последнего больного».

Нина Ивановна тяжело поднялась, сделала страдальческое лицо, придерживая правой рукой вполне здоровую печень. На левой руке висела легкая норковая шубка и, подобранная в тон платью,

сиреневая сумочка. Так тяжело, мелкими шажками, она проплыла в открытую дверь. Ираида Васильевна закрыла за ней дверь, окинув извинительным взглядом сидящих в коридоре: «Вот, мол, как бывает»

Петр Кузьмич Попов смотрел на красивую, приятных округлостей женщину, пока та садилась на указанный медсестрой стул.

«С больной печенью так не выглядят», — подумал он про себя. Доктор имел привычку еще до знакомства с пациентом делать свои наблюдения, которые ему часто помогали. «С радикулитом так уверенно не садятся»

— Это Нина Ивановна Хрипунова, я вам как-то о ней рассказывала.

— Так-так, — Петр Кузьмич не помнил, что рассказывала его помощница, он даже не был уверен, а говорила ли она вообще что-нибудь о ней.

Перед ним сидела молодая женщина с красивыми золотистыми волосами. Умело подобранный макияж выгодно подчеркивал правильные черты лица, оттенял голубые глаза, плавные очертания губ. Полнота ей была к лицу. Это была полнота, вызывающая пока зависть худых и понятную снисходительность тех, кто уже проехал эту остановку. Непонятно было, как ей удалось сохранить прическу под ее норковой шляпкой. Доктор не знал, что Нина Ивановна жила рядом

и головной убор не успел примять заботливо уложенные волосы. Она любила нравиться.

— Ну, расскажите нам, что вас беспокоит. Ираида Васильевна мне о вас говорила... но сами понимаете...

Нина Ивановна, тяжело вздохнув, начала свой рассказ. Она давно «себе не рада», часто «срывается» по пустякам. «Плохие сны». Она боится, что они вещие: вдруг ее постигнет несчастье? На работе ее все раздражает. Да нет, коллектив хороший, девчонки все работающие. Недостач не бывает, главный бухгалтер очень ответственный... Нареканий начальства тоже нет, столовая считается одной из лучших в ОРСе. Дома? Все хорошо: муж работает водителем, хорошо зарабатывает. Нет, не пьет, не гуляет, по дому все делает. У него золотые руки. Видели бы вы, какую прихожую своими руками сделал! Дети? Сын и дочь учатся хорошо. Дочь в первый класс пошла: умница, сын в третьем...

— Да нет, вроде, и повода расстраиваться, а вот, однако же, как нападет иногда... Вот последний раз муж не вымыл посуду после ужина. Они с сыном хоккей сели смотреть, а посуда не мыта. Что на меня нашло... не знаю... — Вера Ивановна вытерла платочком еще не родившуюся слезу, заморгала глазами, не позволяя этой самой слезе смыть импортную тушь. — И ведь не вымыл, паразит, пока этот хоккей долбанный

не закончился, — в ее тоне впервые прозвучали злые нотки.

Для Петра Кузьмича это неприятное звучание последних слов не было откровением: чего-то подобного он ожидал. Он долго беседовал с пациенткой, пытаясь понять ее, уже мысленно рассуждал, как и чем сможет ей помочь. Задавая вопросы, пытался найти правильное решение, хотя подсудно на уровне подсознания оно уже созрело. Внешняя красивость ее растворялась, он за этой красочной упаковкой все четче и четче представлял ее внутренний мир, ее «страдания» на пустом месте. И вот она ключевая фраза: «и ведь не вымыл, паразит».

— А вас муж не бьет? — вдруг резко спросил доктор и пристально посмотрел в глаза пациентке.

— Нет, что вы! За четырнадцать лет я от него слова плохого не слышала, а вы...

— Плохо. Я ему позвоню, чтобы бил вас хоть раз в неделю. Да! Да! Я вполне серьезно. Мне кажется, что это для вас будет лучшим лекарством. Посуду, видите ли, не помыл. Повод для скандала... Бить! Один раз в неделю! Выпишите рецепт своей подруге. Так и напишите! У меня под дверью тридцать человек, извините.

Нина Ивановна вспыхнула ярким огнем. Она почувствовала знакомое горение в щеках, глаза поменяли цвет на серый, лицо окончательно потеряло привлекательность...

— Ну, знаете! — это был тот редкий случай, когда слова подбирались с трудом. — Я найду на вас управу! Я этого так не оставлю!

— Я не рекомендую вам так гневаться, вам это не идет. Вы — красивая молодая женщина — растеряли за секунду все свое очарование. Вам следует задуматься над тем, что я сказал.

— Поучать меня вздумал! — крикнула уже в дверях разъяренная пациентка.

Прошли новогодние праздники, старонновогодние, прошли нудные статистические отчеты. Подкатило 23 февраля. Как принято, женщины в поликлинике готовили стол для своих немногочисленных «воинов»-мужчин. Прием уже закончился. Петр Кузьмич сидел в своем кабинете и откровенно скучал. Должны вот-вот пригласить за праздничный стол. Праздничного настроения не чувствовалось. Наоборот, для него такие мероприятия были всегда в тягость: обязательные слова, обязательные улыбки, заезженные тосты. Даже меню кочевало от праздника к празднику, практически в неизменном виде. Вдруг дверь робко приоткрылась, затем прикрылась снова. В дверь постучали. Вошла молодая женщина в короткой норковой шубке. На ходу она бросила в дверь: «Подожди меня, пожалуйста, я на минутку». За спиной женщина что-то держала. Доктору понравилась вошедшая улыбающаяся женщина, и он,

расплывшись в улыбке, пригласил присесть свою гостью. Он пытался вспомнить, где они могли встречаться, но память его не выручила в этот раз.

— Вы меня не помните? — спросила женщина приятным спокойным голосом.

— Извините — нет, напомните мне, пожалуйста... — голос доктора звучал извиняюще, ему действительно стало неловко.

— Я та самая... Как это правильно сказать? Я к вам приходила перед Новым годом... вы тогда еще посоветовали, чтобы муж меня бил... один раз в неделю, — говорила она, улыбаясь и, что поразило доктора, ничуть не смущаясь.

— А, помню, помню, извините, я тогда был, наверное, груб. Тогда был такой тяжелый день. Я вас помню: вас зовут Нина Ивановна. Как все же у вас дела? Вы великолепно выглядите. Ваш муж не может не любить вас. Это я тогда так сказал, не подумав. Еще раз прошу прощения.

— Вы знаете, после тех ваших слов я так плакала. Мне себя было так жалко. Я даже села писать на вас жалобу, но всю залила слезами... и выбросила. А потом успокоилась и думаю: а почему он так сказал? Ведь, наверное, не зря. У меня все есть, у меня все хорошо: муж замечательный, дети — только радоваться, работа нормальная. Все, вроде, хорошо. И я все поняла. Спасибо! — И она достала из-за спины три ярко-красные гвоздики. — С праздником!

Расстрел

Поезд тянулся и скрипел как худая телега. И только выходя из кривой на прямую, чуть поддавал, и скрип сменялся монотонным перестуком колес. На новой железнодорожной линии действует ограничение скорости. Алексей Морковин, мастер пути, злится на эти ограничения, установленные самим же вместе с отделом временной эксплуатации дороги. На линии Сургут — Нижневартовск максимально разрешенная скорость семьдесят километров, но есть опасные участки, где она не превышает пятнадцати километров в час. В другое время ему бы наплевать. Сиди себе в приятной компании, пей пивко, закусывая вяленой рыбой. Но сейчас... Плотно стоящие темной стеною вековые кедровые деревья медленно тянулись назад,

провожаемые долгим взглядом Морковина. Появлялись прорехи, обнажая бесконечные болота. С железнодорожного моста через Аган открывается пойма реки, зеркальной водной гладью до самого горизонта отражающая восходящее солнце широким ослепительно ярким большим.

Время половодья, весна. Глаза невольно прищуриваются, Алексей отворачивается в темноту вагона.

— Вода нынче большая будет, — Саша Кушкин потирает ладони, улыбается. Он подкидывает карты, вертит головой, заглядывая то в одно окно, то в другое, но нить игры не теряет. Ребята заговорили о рыбалке.

— Леша, очнись! Козыри черви. Снова горбатого лепишь.

— Черви? Тогда мое, — Леша смотрит на разложенные веером карты невидящими глазами, собирает со стола подброшенные.

— Что с тобой? — спрашивает напарник Вовка Гусев. — По Зинке соскучился? Рано губу раскатал: еще добрых три часа пилить.

Лицо Алексея вспыхнуло румянцем, он почувствовал, как застучало в висках. Друзья переглянулись и не стали развивать тему. Все знали ревнивый характер своего друга. В бригаде многие, особенно женщины, любили пошутить и часто разыгрывали его, доводя до бешенства.





— Как ты Зинке разрешаешь обнимать Витьку Шпакова на сцене при всех? — хохоча, спрашивает Валя Борисова во время обеда.

— Не-е-е, за ней завклубом ухлястывает. Намедни как он смотрел на нее, чуть слюной не подавился, — подхватывает ее подруга Нинка.

— Да ты не переживай: он старый, ему много не надо — еще и тебе останется.

В такие минуты Алексей убегал, оставаясь без обеда, и курил сигарету за сигаретой, забившись подальше. Работая мастером, немало терпел он от своих подчиненных путейских рабочих, женщин бесцеремонных и острых на язык.

— Тебе с Афанасием нужно было ехать, — говорит Саша, — он уж, поди, давно дома пиво разливает.

— С ним главный инженер поехал, — Алексей скрипнул зубами. Он договорился с Афанасием, но в последний момент главный, будучи в подпитии, решил прервать командировку и вернуться в поселок при пиве.

— Он же шпалы должен отгрузить.

— Принял на грудь и по фигу ему шпалы, рельсы: пиво без него выпьют. Пропустит он такую оказию, как же, держи карман шире, — зло забубнил Алексей.

Вовка открыл канистру и разлил по кружкам. Второй год пиво варят в Сургуте, и весь

Север развозит его машинами, поездами, вездеходами. Перестало на Севере пиво ходить в дефицитах.

Бывало, по просьбе трудящихся посылали водовозку за ним в Сургут за сто пятьдесят верст, в основном, для пенсионеров и тех, кто не в состоянии сам смотаться за тридевять земель. Афанасий на своем ЗИЛке чуть свет отправлялся в путь, чтобы после трудных часов борьбы за право заправиться поздно ночью доставить стратегический груз. Разливали обычно тут же по приезду, как говорится, «не отходя от кассы». Любители пенного напитка разбирали его в припасенную посуду. Наступали пивные дни. Пиво в бидонах, банках расходилось по всему поселку. Его пробовали в мужском и женском общении, на почте и даже в линейном отделе милиции и поликлинике. В конторе строительно-монтажного поезда тоже утоляли жажду прохладным пивком из холодильников. Некоторые бригады не выезжали на работу, что особо не тревожило начальство — потом отработают. Путевые рабочие после таких «вынужденных отгулов» работали с остервенением и особой прилежностью. Столярный цех и пилорама закрывались на профилактику. «Дни охраны труда» соблюдались неукоснительно. Северный поселок жил своей жизнью: работать так работать, а отдыхать, так с пивом.

— Афоня, там у меня с прошлого разу червонец должен остаться, — скрипит, бывало, вездесущая баба Кудашиха.

— Щас, поглядим, — Афанасий достает из-под сиденья засаленную тетрадь, вычеркивает Кудашиху и производит полный расчет. Та, забывая про свой постоянно действующий радикулит, тащит двадцатилитровую канистру почти не сгибаясь.

— Афоня, в долг дашь? До получки, — это дед Свирид.

— Щас, запишем.

Дед ставит под кран две трехлитровые банки, важно поглаживает окладистую рыжую с проседью бороду, осматривает очередь. Его распирает гордость оттого, что, не спрашивая, дают в долг. Он еще работает сторожем в гараже и в состоянии рассчитаться.

— Ты, Афанасий, в две посуды не наливай: всем не хватит, — смеется здоровенный детина. Очередь оживает, каждому хочется поддеть старого. У всех посуда солидная: молочные фляги, канистры, а он — две банки.

— Одну старухе покажу, а другу — заначу, — смущаясь, отшучивается дед Свирид.

...Алексей Морковин вышел курить в тамбур и не стал продолжать игру. Ребята уже раскинули на троих. Вернувшись, залез на полку,

растянулся как шпагат и закрыл глаза. Зинка снова заплясала, вертя бедрами, затянула казацкую песню. Вокруг стоят мужики и смотрят на ее ладное тело; стройные ноги, оголившиеся от кружения, быстро перебирают, выстукивая каблуками. Он открыл глаза, видение исчезло. Из груди вырвался громкий стон.

— Что, Леша, на животе больно лежать? Полка жесткая?

— На спину ляжет — штаны порвутся. — Вовка хлестко бросает карту.

На станцию поезд заходил шагом. Машинист вел короткий состав аккуратно, незаметно притормаживая. Алексей первым спрыгнул на ходу и метровыми шагами быстро направился в сторону дома. Свернул на свою улицу. В одной руке он нес канистру с пивом, в другой — огурцы. В поселок пока огурцов не завозили, а в Сургуте своя теплица и продают на каждом углу. Зина заказывала. Первая окрошка с первыми огурцами имеет запах весны, вкус приближающегося лета, и он уже предвкушал любимое кушанье.

В пять утра весь поселок спит, тем более в субботу. Ощущая разгоряченным лицом прохладу весеннего утра, Алексей ускорил шаг.

— Здравствуй, Леша! — услышал он скрипучий голос старой и вездесущей Кудашихи.

Последних слов Алексей уже не слышал. В голову шумно рванула кровь. Уши стали неслышащими, глаза невидящими. Он резко развернулся, опрокинув канистру с пивом. Кудашиха проворно поймала ее уже на ступеньках и ловко придала вертикальное положение.

Ураганом влетел Алексей на свое крыльцо, открыл своим ключом дверь, направился в кладовку. Не включая свет, в темноте нащупал одностволку, сдернул с полки патронташ, выбежал в просторный коридор. Из спальни вышла Зина в ночной рубашке. Золотистые пряди ее роскошных волос укрывали белые плечи.

— Леша, здравствуй, милый! — с хрипотцой в горле сказала женщина и убрала руками, как гребнем, упавшие на лицо непослушные волосы, подбила их руками, прихоращиваясь.

— Милый? Сегодня я у тебя милый, а вчера — Витька? — кричал Алексей, сдавливая ружье в сильных руках.

— Бог с тобой! Что ты несешь? Когда ты уже перестанешь слушать всякие сплетни? — Зина сразу догадалась, откуда новости. — Убью эту Кудашиху! Ненавижу!

— Это я тебя сейчас кончу! Хватит терпеть!

— Витька телевизор приходил ремонтировать. Дети дома были. Как ты мог подумать!

— Значит, если бы детей не было... — уже не мог остановиться Алексей. — Дети, значит,

тебе помешали! Все! Хватит! Сыт красавицей по горло!

Он грубо схватил жену за руку и поволок на улицу. Бегом сбежали с крыльца, обогнули школу и направились в тайгу, что начиналась сразу за школьным забором. Алексей шагал метровыми шагами, за ним семенила Зина босиком в ночной сорочке. Остановились на поляне. Морковин отскочил от своей жены, развернулся и наставил ружье. Зина с зареванными глазами смотрела на своего взбесившегося мужа, ее душил стыд, было горько и обидно. Сцены ревности в их семье были нередки, но сегодня... Она его ждала, она видела его во сне...

— Стреляй, гад! Мне тоже все это осточертело! — она разорвала рубашку, выбросив одну ногу вперед.

Ее белые тугие груди разлетелись в разные стороны... Леша опешил. Его глаза только теперь обрели способность видеть. Рассудок вернулся к нему разразившейся молнией и громом звуков. Низко над лесом трубно загорланили лебеди. Ружье холодным металлом обожгло руки. Он смотрел на пару лебедей, низко протянувших над вершинами хмурых кедров, словно не понимая, как здесь очутился. Из глаз покатались крупные слезы. Зина тоже смотрела вслед улетающим птицам, вздрагивая всем телом, скрестив руки на груди.

Ее плечи укрыло что-то теплое и нежное. К щеке прислонилось что-то приятное и влажное. Алексей обнял Зину, и щемящее тепло разлилось в его груди. Он почувствовал частое бие-ние ее сердца, и в его душу постепенно вселялась нежность. Лицо вдруг вспыхнуло от стыда.

— Прости меня, прости. Ты же знаешь, как я тебя люблю!

— Знаю. Я тебя тоже, дурачок ты мой...

Сладко-соленые губы, так знакомые Алексею, вызвали легкое головокружение. Ноги перестали слушаться. Он быстро снял куртку и постелил на мягкий мох. Зина послушно присела, запрокинув голову, сладостно потянулась и привлекла к себе своего любимого. Чистое весеннее небо было им покрывалом. Гуси-лебеди высоко в синеве тянули на север бесконечными ключами.



Сплошная невезуха

Верхняя полка общего вагона, жесткая, как булыжная мостовая, располагала к раздумьям и никак не способствовала сну. Дмитрию Ивановичу повезло: ему как ветерану, так сказать, представителю старшего поколения, уступили это козырное место в переполненном вагоне. Он ворочался, пытаясь уложить свое тощее тело в такое положение, когда достигается гармония между жесткой подстилкой и мешком костей. Не раз он уже недобрым словом вспомнил свою худобу. Он всегда завидовал полным людям, а сейчас и подавно. Молодежь, плотным кольцом облепившая расшатанный столик, праздновала День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Никто не помнил

годовщину праздника, но наливали крупными торопливыми булями в эмалированную кружку и пускали ее по часовой стрелке. Регулярно очередь доходила и до ветерана. Дмитрий Иванович в складчине не участвовал, и первая далась ему с некоторыми угрызениями совести. Каждый тост адресовался ему, как будто он своими руками делал революцию.

— Ну, за тебя, дед. Молодцы вы, почудили здорово в семнадцатом. До сих пор празднует народ. Будь здоров.

— Я не брал Зимний и Ленина не видел, просто еще не родился... — хотел отшутиться Дмитрий Иванович.

— Все вы, старики, скромничаете, — перебил его рыжий щекастый парень.

Вторую Дмитрий Иванович принял, как само собой разумеющееся, сам протянул вниз руку и обменял пустую кружку на кусок бесцветной докторской колбасы и краюху хлеба. Колбаса оказалась и без запаха и без вкуса.

— Какая это падла отправила тебя в праздник, да еще в общем вагоне? — продолжал щекастый.

— Я сам взял билет. На плацкарту денег не хватило. Я, можно сказать, в бегах. Нет, не подумайте, зять у меня хороший, но вышел небольшой конфуз...

И Дмитрий Иванович поведал своим новым знакомым, как ему показалось, очень милым ре-

бятam, свою историю. После третьей память прояснилась и два последних месяца, казалось, вспомнились Дмитрию Ивановичу до мельчайших подробностей.

В сентябре по приглашению своей дочери и зятя, Виктора Васильевича, Дмитрий Иванович приехал «на север» клюквы собирать, орехами запастись, порыбачить. Звали его каждый год, но ему то не хватало решимости, то здоровьишко подводило. Страницу атласа СССР, где размещалось огромное зеленое пятно прямо посередине огромной его страны, затер старый потенциальный путешественник до дыр. Руслу Оби в среднем течении на этой странице не существовало, как не существовало там болот и грив, мелких рек и речушек. На месте их было белое, вернее серое пятно, вышарканное пальцами. Хотя мысленно Дмитрий Иванович излазил здесь каждый сантиметр, для него тем не менее это серое пятно казалось белее белого.

— Зять у меня хороший, но шибко строгий. Томка, дочь моя, на что боевуца, а тут: «Витенька, что тебе на ужин приготовить? Витенька, а тебе доктор звонил... Витенька, Витенька...» Прямо смотрю и люблюсь, в добрые руки попала, — вел рассказ дальше Дмитрий Иванович. — И сына, внучка моего, в руках держит. Тому уж двенадцатый годок пошел, за ним глаз да глаз нужен. Хороший зять, ничего сказать плохого не могу

об ём... Комнату мне отдельную выделил, — Дмитрий Иванович задумался.

— То-то сбежал от него. Хороший.... От хороших не бегают.

— Так в том и моя вина есть. Друг у меня там объявился. Сосед ивошный — Павел Иванович. Мы с ним и по клюкву, и за орехом... Он-то все места знает.

Начали мы с ним помаленьку... того... да и как без этого. Он бражку ставил тайно от жены. Но мы все и по хозяйству успевали... У него инструменту разного полно. Учителем труда раньше работал.

У него забор повалится — я ему помогаю, у нас сарайку перекрыть нужно — он тут как тут со своим инструментом. Золотые руки у человека, можно сказать.

— Ну, потом, опосля работы, как положено... — долговязый парень громко щелкнул себя по кадыку.

— Ну, как положено... — ветеран опустил голову.

— Ты, дед, не скромничай, после работы не грех.

— Да я ничего, только с этого все и началось. Я все сделать хочу, чтобы путем было, а выходит каждый раз не так, все не так, — он безнадежно махнул рукой. — Как-то наточил нож его охотничий. Он мне сам похвастался: смотри, го-

ворит, какой нож по заказу мне сделали: хантыйский. А я взял его, попробовал лезвие пальцем: наточить, думаю, нужно. Приятное сделать Виктору Васильевичу, значит, захотелось. Он с обеда на работу, а я за нож и к Пал Иванычу. Тот посмотрел, повертел: неправильно, говорит, заточен нож, и наточил как надо. Ну, ясное дело, без ста граммов не обошлось. Вечером, само собой, хвастаюсь зятю работой, а он как вызверится: «Что вы наделали, старые, по пьяни! Он же заточен был специально на одну сторону, под левую руку». Он левша у нас. Левши все горячие. Неловко стал я себя чувствовать опосля такой промашки и задумал загладить вину. У них крыльцо деревянное, резное такое, красивое. Дерево уже цвет стало терять, темнеть начало. Тут и Виктор Васильевич пожаловался, что некогда покрасить. Я снова к Пал Иванычу: так, мол, и так. А он: «У меня и краска есть зеленая. Я у рабочих на брагу сменял. Три литра браги на флягу краски. В хозяйственном магазине возьмем чек, отчитаемся, еще на литрушку выгорит». Бес меня попутал... Покрасили. Цвет как у поношенной шинели. Цвет-то ладно, но она еще и не высыхает. Видимо, соляркой развели паразиты-рабочие. Снова мне начет, в пассив, так сказать. Хорошо, что я еще чек не выложил. Я его потом сжег, боялся: раскусит Виктор Васильевич наш коварный план, если случайно попадет на глаза. Ох уж и умный он,

не приведи господи, провидец, можно сказать. Бывало, я только подумаю, а Виктор Васильевич уже: «Смотри сегодня, Дмитрий Иванович, чтобы без фокусов»

— А что ты, дед, все Виктор Васильевич да Виктор Васильевич?

— Я завсегда его по отчеству, завсегда-а, — протянул важно «ветеран революции».

— И на «вы», что ли?

— Нет, на «ты», но по отчеству всегда, с первого дня. Сила в ем какая-то есть. Сам росточку маленького, только с животиком, и борода седая, лысина. Начальником работает... строительства. Нрав шибко крутой. С работягами-вахтовиками как иначе — на голову сядут. Так вот, ребята, дальше — шире. Как-то перестелили мы с Пал Иванычем линолеум на кухне. Хорошо получилось этот раз, самому понравилось. Сели мы, значит, закусить. Томка на работе. Сообразил я тут салатик. Нашел огурчики в холодильнике, а помидоры, две штуки (крупные такие), на подоконнике лежали. Закусили чин чинарем, а тут и Виктор Васильевич с работы. Я же говорю: провидец. Ему тоже работа наша понравилась. Да и как не понравится — ни морщинки. Ровненько лежит, как паркет настоящий. Потом смотрю, он белеть начал, борода затряслась. Первый признак, что нервничает. В подоконник устался, потом в тарелку с остатками салата. Ничего не сказал, только

скрипнул зубами. Он хоть человек крутой, но деликатный: при Пал Иваныче не стал бучу поднимать. Мне потом Тамара рассказала, что мы семенные помидоры съели, будь они неладны. Ему из Нижневартовска привезли, сорт какой-то шибко урожайный. Знатье бы....

И так все, что бы я ни сделал — все не так. И главное, пытаюсь как лучше... туды твою качель... — с линолеумом хорошо, так с помидорами конфуз.

Хмель и твердая «постель» вытряхнули последние силы из Дмитрия Ивановича. Речь его замедлилась, он стал запинаться, повторять уже сказанное, пару раз срывался на мат. Из соседнего купе выражали уже свое недовольство поздними громкими беседами. Уставший старик замолчал, повернулся на бок к стенке лицом и захрапел, чтобы завтра досказать прерванный придиричьей пышногрудой дамой рассказ.

Исчезновение тестя можно было объяснить, но где он прячется, Виктор Васильевич вычислить не мог. Павел Иванович молчал как рыба об лед, а завидя Виктора Васильевича, старался скрыться и не попадаться ему на глаза. Виктор Васильевич каждый день приходил на пепелище сгоревшей новой бани.

Баню из бруса поставили быстро. Строительный материал был хорошего качества, а главное,

всего было достаточно. Внутри обшили вагонкой. Большой и просторный предбанник, отдельная помывочная делали ее примечательной. Баня получилась на славу — лучшая в поселке. Все друзья перебивались на новостройке, удивляясь удачной планировке, богатой отделке. Оставался последний штрих: сделать расшивку вокруг дымохода, аккуратно заизолировать асбестовой лентой, как говорится, с целью противопожарной безопасности.

— Вы, Виктор Васильевич, будьте покойны: сделаем с Пал Иванычем как надо. Я уже не одну баню построил, знаю что к чему, да и сосед тоже поможет, — в отдельные ответственные моменты тесть называл зятя на «вы».

— Так что: вечером пускаем дым? — Виктор Васильевич потер ладони.

— Еще как пускаем. В торжественной обстановке. Как обещали: успели к празднику.

Уже поздно вечером затопили баню. Пар хороший, дерево отдает лесными ароматами, смешиваясь с березовым духом распаренных веников.

— Ну, Иванычи, принимайте по рюмке!

«Иванычи», уже хорошо принявшие в процессе работы, с радостью не отказались. Потом повторили, и не однажды.

— Вам не кажется, что деревом паленым пахнет? — Виктор Васильевич посмотрел на Павла Ивановича, потом на тестя.

— Если кажется — креститься нужно. Дерево свежее, высыхает, вот и пахнет, — уже запинаясь, сказал весело Дмитрий Иванович. У него было приподнятое настроение. Он впервые, может быть, за два месяца честно и смело смотрел в глаза своему зятю. Он даже отважился похлопать его по плечу. — Не ссы, Витя, сто раз меня помянешь. Банька что надо получилась. Мойся и радуйся. Тамарке спинку тереть будешь — опять вспомнишь, — глуповато хихикнул он.

— Не то что вспоминать, я всем буду с гордостью рассказывать, какой у меня тесть — орел! — и зять посмотрел на своего тестя.

Тот, поджарый, высокий, с черной, почти не тронутой сединой шевелюрой, весело балагурил, отпуская плоские шутки на грани пошлости и хамства.

«Как лавровый лист, — подумал зять, — старый и сухой, а цвет и запах сохранился. Солдафоном был, солдафоном и остался. Отчего ему было поседеть: всю жизнь просидел в прапорщиках, заведующим неприкосновенных запасов продовольствия какой-то военной части, потом вахтером в общежитии. Одна забота в жизни: все сделать для того, чтобы ничего не делать».

Виктор Васильевич устался в оконце. Он уважал своего тестя, но, как человек, прошедший школу армии, не мог не замечать незримых погон прапорщика на его плечах.

Со стороны Павлу Ивановичу родственники казались ровесниками: седина и лысина младшего на пятнадцать лет зятя уравнивала его с тестем. Павел Иванович большей частью молчал, часто подходил к печке, принимался, потом садился, молча опрокидывал рюмку, громко хрустел огурцом.

Дмитрий Иванович не ошибся, что Виктор Васильевич будет его вспоминать, но чтобы так часто... ему и не снилось. Банька сгорела. Два раза протопили баню, а помыться и попариться счастливое семейство успело только один раз. Не довелось собрать друзей на Седьмое ноября. Праздник был омрачен. После «разбора полетов» специалисты-пожарники сделали заключение: неправильно сделана изоляция дымохода.

Исчезновение тестя, в конце концов, вытеснило пожар на второе место. Все занимались его поиском. Подключился двенадцатилетний внук, соседи, друзья. Только Павел Иванович вел себя странно: на вопросы Тамары отвечал односложно, пряча глаза:

— Не знаю, где он. Вам виднее: он ваш родственник. Я ему кто? Отчего это я должен знать?

С Виктором Васильевичем он встречаться отказывался и всячески избегал встречи с ним. Разведка донесла, что в доме соседа он не скрывается. Телефон в Свердловске на квартире тестя

не отвечал. Его соседи по подъезду тоже не видели Дмитрия Ивановича.

— Это он тебя испугался, он мог руки на себя наложить, — корила Тамара мужа.

— Что ж я его убил бы, что ли? Что ж я изверг какой? — в сердцах ронял Виктор Васильевич. — Да бог с ней, с баней. Еще построим. Может, в милицию заявить?

— Не хватало еще, чтобы по всему поселку и Свердловску слава пошла, что дочь отца извела. Что будет, то и будет. Если жив — объявится, если нет — уже ничем не поможешь.

Слова жены больно ранили сердце Виктора Васильевича. Он стал плохо спать и уже жалел, что затеял то злополучное строительство, что заставлял работать тестя. Теперь он себе казался эксплуататором и угнетателем, ему снились кошмары. В каждом сне тесть просил у него прощения, и каждый раз по-разному: то ползая на коленях, то бегая за ним по пятам, а он убегал от тестя, не желая разговаривать, что доводило Дмитрия Ивановича до слез. То он видел тестя с пистолетом у виска и просыпался в поту. После таких снов Виктор Васильевич ходил в поликлинику тайно от Тома.

И вот когда надежды на благополучную развязку почти не осталось и Виктор Васильевич давно простил тестю роковой брак в работе, пришло письмо от Дмитрия Ивановича. В письме он

обстоятельно и подробно изложил свою точку зрения на все происшедшие события за два месяца: он корил себя за помидоры, за охотничий нож, за перила, выкрашенные краской, разведенной соляркой «несознательными рабочими», называя все «сплошной невезухой». Он упоминал и другие свои прегрешения, неизвестные Виктору Васильевичу, и каялся во всем, просил прощения.

Но заканчивалось письмо неожиданно:

«...И, наконец, уважаемый Виктор Васильевич, коснусь вопроса о бане. Я долго размышлял и думал, почему сгорела баня, я даже прочитал специальную литературу, разговаривал с опытными людьми; и пришел к выводу: баня сгорела потому, что вы топили березовыми дровами, а березовые дрова, как известно, дают большую температуру при сгорании.

С уважением к Вам
Поляков Дмитрий Иванович».



Всяк забавляется

КАК МОЖЕТ



Юмор

На вираже

Жизнь наша похожа на поезд, закладывающий опасный вираж. Мчимся сквозь время, мчимся, как локомотив, и все происходит, как в обычном поезде: рыжий машинист у руля — жди схода поезда с рельсов; толстый кот с черным фейсом перебежал дорогу слева направо — к экономическим затруднениям — задержат зарплату, справа налево — к выпивке — зарплату дадут водкой. Выпьют машинист с инструктором, заедут не на ту стрелку, а выгонят с работы стрелочника: за котами, дескать, смотреть надо! Чтобы не перебежали дорогу. Инструктор одряхлел, кот нашкодил, — кучерявые да маловозрастные машинисты начинают лихачить, крутить баранку то влево, то вправо. Так, не ровен час, можно

проскочить запрещающий сигнал... А там и пойдут отцеплять вагоны от проштрафившегося поезда и прятать по запасным путям-тупикам. А что вагоны без локомотива? — это же что президент без пресс-секретаря. Сидят по вагонам проводники, даже пискнуть боятся: а вдруг отцепят да в тупик!

В этом поезде все, как в жизни: проболтал мордастый машинист, а помощник развесил уши, не дал сигнал на перекрестке реформ, и все: катастрофа! Пропали вклады! А те, кто знал о приближающемся перекрестке, сидят теперь на золотых унитазах и выдувают новый гимн новой страны.

Странные проводники в первом вагоне носят водку в коробках из-под ксерокса, а на пассажиров орут благим матом: «Распивать спиртные напитки в поезде запрещено! Особенно, если не у нас куплено. У нас экологически чистый продукт. И акцизная марка имеется... нашего вагона. Наш-то начальник знает, что делает — система ниппель: в любой вагон по предоплате, а к нам ни капли. Он у нас хозяйственный и скромный. Вот содрал кожу со всех вагонов, обшили мы кожей в десять слоев первый вагон: практично! Сносу нет! А себе взял всего-то на кепочку».

Инструкции и циркуляры для пассажиров старые, потому нет среди них мира и взаимопонимания. На нижних полках сидят в сюртуках

и туфлях из крокодиловой кожи «новые русские». Правда, русского у них только разве что... даже не речь, а только связки между словами. На верхних полках студенты, бабки с дедками сидят с туго затянутыми поясами. Проели свою кто пенсию, кто стипендию и смотрят вниз голодными глазами. Неловко стало «новым», и закрыли их от «старых» зонтами мальчишки в спортивных тапочках. Только торчат задранные высоко над зонтами длинные и прямые, как импортные карандаши, податливые отечественные женские ноги. Кстати, об инструкциях: они существуют в несуществующих рукописях, написанных на существующие доллары условно существующими авторами. Условно потому, что пожурили условных авторов за это чисто условно.

Вместо билетов выдали пассажирам фиговые листочки, названные с легкой руки пишущей братии иноземным словом «вычучер». Дает такой листочек право на вход в вагон, но не гарантирует проезда в конечный пункт, потому что по ходу поезда листочек быстро линяет и теряет этим самым свою привлекательность для проводников. А пассажиры и вовсе не знают, что делать с этими «вычучерами», которые на глазах превращаются в промокашку. Вот и приделывают бабушки к ним крылышки, а дедушки применяют никчемную бумажку и вовсе без оных.

Мчится поезд... Мчится с бешеной скоростью. Мелькают за окнами разные ландшафты да пейзажи, но никто толком рассмотреть не может местность, по которой летит этот шальной состав. «Где мы? — спрашивают друг у друга пассажиры. — Куда мчимся?» — «Не бои-и-и-сь!» — с гиканьем отвечают проводники. — Наш машинист знает куда едет!» Может, и действительно не обязательно знать пассажирам, куда их везут? Задумались они. И сделалась в поезде гробовая тишина. Только ветер свистит за окнами да слышен нескладный стук колес...

Чудной поезд. Но после крутого виража, за поворотом, может, ждет пассажиров прямая дорога? Может, на подходе поезд к той узловой станции, где неминуема смена бригады? Может, и выбрать смогут пассажиры себе и инструктора, и машиниста. Конечно, если будет возможность посмотреть всем претендентам в глаза и спросить: «А ездить ты умеешь? Не дрова, чай, везти!»

Январь 1998 г.



Алло! Вас разыскивает Интерпол...

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Надо же! Занесло Емелю Заморкина со своей Манюней (как ласково называл он свою пышногрудую жену) в Америку несчастье: умер его дядя. Нашли их через Интерпол. Такое, говорят, несчастье: ваш дядя Джон Заморк (Иван Заморкин) почил и других родственников у него нет. Вы, говорят, единственные наследники. Не знают, радоваться или скорбеть: надо же — такое несчастье свалилось, как манна с небес. Наследство, говорят, небольшое: дом в пригороде Чикаго и небольшая сумма в банке.

Дом с красивыми балкончиками, черепичной крышей действительно по сравнению с соседними особняками небольшой, но ухоженный участок

земли, цветники, асфальтированные дорожки, гараж, искусно замаскированный зеленью, понравились найденным родственникам, и они не стали отказываться от внезапно напавшего на них везения. Сумма тоже оказалась не такой уж и маленькой.

— Два миллиона баксов! Да я столько капусты в одной куче никогда не видал.

— А твоя мама говорила, что дядя Джон бедный.

— Да, говорили, он питался в дешевых столовых для безработных. Не женился... Копил... Для кого? — Емеля характерно пожал плечами.

— Дурень! Для тебя. Благодарить должен дяденьку, — Маня потянула рукавом под носом, что означало: вопрос исчерпан.

— Спасибо тебе, дядя Джон. Век не забуду! — Емеля, перекрестившись, переступил порог уже своего дома.

Недолго думая Емельян Заморкин собрал по сусекам остатки обменянной еще на родине валюты и закатил пир, пригласив новых соседей и знакомых своих знакомых, которых ему рекомендовали встретить в незнакомой Америке.

— Слушай, Кирзон... — запнулся Емеля, несколько отягощенный непривычным виски.

— Давид Ефимович, — напомнил ему лысый как колено знакомый московского друга Емели — Семы Виздоха..

— Так вот, Давид! Сема Виздох деньги тебе передал. Две штуки баксов. Ну, ты знаешь за что.

Давид Ефимович улыбнулся масляной улыбкой. Деньги он любил.

— Но получишь ты их после того, как я улажу все дела. Понял?

— А почему не сейчас? — лицо Кирзона затмилось вопросительным знаком.

— Эта накрытая поляна, — Емеля широким жестом показал на роскошный стол, — что, по щучьему велению тут образовалась?

Давид Ефимович поперхнулся. Деньги ему полагались за посреднические услуги в деле вызволения из полиции сына Семы — Арона. Тот устроил пьяный дебош в кафешке. Арон сам уплатил штраф, но отпустили его под поручительство Давида Ефимовича, что давало ему простор для вымогательства.

В письме своему другу Семену Виздоху он сообщал подробности вызволения, которые были оценены в две тысячи баксов. «Ты меня хорошо знаешь: я копейки себе не возьму, но хозяин кафе, адвокат... У нас все дорого, так что ты отделался мелкими царапинами, можно сказать...»

«Мелкие царапины» в своем семейном бюджете Семе предстояло заделывать не меньше года. Он догадывался, что каждый человек в свою меру грешен. Давиду Ефимовичу явно чувство меры отказало. Но Сема согласился на тот случай, вдруг

Арону понадобится снова помощь его безмерно грешного друга.

— Но ведь это мои деньги, — несмело и тихо выдавил Давид Ефимович. — Когда вы мне вернете?

— Как только — так сразу! Я же сказал: как получу дядюшкино наследство, так сразу и отдам... Может быть...

— Что — может быть? — засуетился Давид Ефимович.

— Может быть сразу, как только получу... Выше голову, Кирзон! Смотрите в будущее с надеждой. Я что, похож на жулика? — Емеля громко икнул и налил себе и Кирзону виски. — Какая гадость!

Сосед умершего дяди Дебилстон с самого начала вечеринки стал обхаживать Маню. Прямо не отходит от нее. Маня, румяная девица, имела ту полноту, которую хочется потрогать. Дебилстон не был исключением. Ему тоже хотелось. Он чуть глаза свои бесстыжие не сломал, нагло разглядывая роскошное декольте, отпуская комплименты после каждой выпитой рюмки. Нос его так и лезет в живописную щель.

— Что ты, — говорит Емеля, — пялишься? У твоей не меньше за пазухой, — и он ткнул пальцем в тугие полушария Мери.

— Так то ненастоящие. У твоей тоже силикон? — спросил Дебилстон, громко икнув.

— Чего? Я тебе сейчас как засиликоню!

Дебилстон ловко увернулся, подавшись жирной спиной назад.

— И соски есть? — спросил он осторожно.

— А куды они деются. Ты что, — говорит Емеля, — пристал к моим... к Манькиным грудям?

— Так я в жизни настоящего соска не видел. Наши-то женщины уже в третьем поколении на силиконе. Вот и перевелись у них... — сказал он как-то обреченно. — Поглядеть охота. Сто баксов заплачу...

— Я тебе... — сначала осерчал Емеля. А потом подумал: жалко, что ли? Лишь бы Маня не взбрыкнулась, а то враз фарфоровые зубы Билла (так он стал для краткости называть своего соседа) повывлетают. — Ладно, поговорю с Маней, но про деньги забудь, не надо.

— За все платить положено, а если позволит пощупать, то пятьсот заплачу.

— Я те дам пощупать! — снова взорвало было Емелю. «А, хрен с тобой: не мыло — не измылится, — подумавши, решил он. — Маню бы уговорить. Не за деньги — мужика жалко. Как же, за всю жизнь соска не видал».

Маня тоже сначала — на дыбы, а потом вошла в положение:

— Ладно, только я так, не за деньги. Шибко жалко тебя.

— Видишь ли, Марья...

— Ивановна, — напомнила Маня.

— Так вот, интимные отношения имеют для человечества огромное значение в плане продолжения рода, — начал подбивать клинья Дебилстон.

— Мне так кажется, что не каждый эпизод таких отношений на пользу человечеству, — она брезгливо глянула на громко глотавшего слюну толстого Дебилстона.

— В Америке так просто нельзя. Все денег стоит.

Билл, ошарашенный увиденным, вытащил кучу баксов и начал отсчитывать трясущимися руками десятки.

Назавтра приехали его друзья, тоже любопытные. И все баксы вываливают. Оказалось, у них там только по телевизору показывают и то по какому-то дорогому каналу, а вживую посмотреть — бешеных бабок стоит. Смекнул тут Емельян: не пропадать же добру. Хотя, как говорится, на обратную дорогу выручить. Посоветовались с Маней, покумекали и дали объявление в газету.

Наутро — очередь у ворот. Машины некуда парковать. Дело споро пошло: поглядел — сотня, пощупал — пятьсот. Следующий...

Какой-то старичок в азарте щипнул. Маня с разворота — в рыло. Старичок, довольный такой, достает 1000 долларов: у них-то забыли, когда баба рожу мужику била за это. Нет охотников спринцовки щупать. А на нет и суда нет. А тут и денег не жалко. Тщедушный старичок, хихикая

как ребенок, тянет свои ручонки к упругим округлостям. Маня уже с другой руки приложились, а он снова 1000 долларов достает.

— Мы тебя за сексуальное домогательство — к суду! — заорал Емеля.

— Да что ты к нему пристал! Пускай забавляется, — и Маня еще раз вlepила звонкую затрещину назойливому старику. Тот снова полез в бумажник.

— К суду? Хорошо! Я вам своего адвоката завтра пришлю. Он вам судебный иск поможет сформулировать. — Старичок вдруг оживился. — Только вы не передумаете?

— Я даже не знаю, — опешил Емеля. От неожиданности он раскрыл широко рот. — Ты что, дедуля, серьезно хочешь, чтобы мы подали иск за сексуальное домогательство?

— Конечно! Такой процесс будет! Я потом мемуары напишу. Внуков на всю жизнь обеспечу. Я же бывший конгрессмен. Жизнь прожил, и написать нечего. Скукота! А это — чтобы вы не передумали иск подать, — и он стал заполнять чек на пять тысяч долларов.

— Ты мне чеки не суй, знаем мы всякие облигации да ваучеры. Научены! — вошел в раж Емеля. — Налом вали... тысячу.

— Пожалуйста, — не понял фокуса любвеобильный старик. — Только чур — больше ни с кем судебные тяжбы не затевать.

— Гони за эксклюзив, — уже окончательно обнаглел Емеля.

Дело пошло. Не хватало рук. Публика всё избалованная: раздеть, чаем-кофе напоить, деньги принять, квитанцию выписать... С квитанциями чуть промашка не вышла. Хорошо, что у Мани в кармане оказалась какая-то завалящаяся из Дома быта. Вывели чернильную писанину и накопировали квитанций прямо с печатью Дома быта «Незабудка». В Америке ведь как? Есть квитанция, значит, все законно. Через неделю-другую Емеля понял: без помощника не обойтись.

— Слушай, Давид Ефимович, — позвонил он как-то Кирзону, — хочешь через две недели деньги получить?

— Хочу! — с готовностью ответили ему.

— Ты чем по вечерам занимаешься?

— После двух я свободен... каждый день.

— Мне кассир нужен. Две недели отработаешь, и я тебе деньги отдам.

— Но это же мои деньги! Почему я должен их отрабатывать? — сорвался на крик Кирзон.

— Ну, как хочешь. На нет и суда нет...

— Я согласен! — прервал Емелю обескураженный Кирзон.

Кирзон оказался неплохим кассиром. Аккуратно выписывал квитанции, принимал деньги. Он уговорил Емелю брать чеками, сам же обналичивал в банке и аккуратно отчитывался о про-

деланных банковских операциях. Жалоб от клиентов не поступало, и Емеля остался доволен выбором проворного кассира. Желая задобрить босса и получить свои деньги, Кирзон заметил:

— Вам, господин Заморкин, необходимо легализоваться, то бишь открыть фирму, чтобы избежать неприятностей. Я помогу. За услуги дорого не возьму — тысячу долларов.

— Молодец, Кирзон! Я тебя на работу возьму. Своим заместителем. Только смотри, не зарывайся!

— Я за восемьсот открою вам дело, — на одесский манер пропел Кирзон, преданно глянув хозяину в глаза. Ему и в страшном сне не снилось стать заместителем директора. Всю жизнь, имея университетское образование, он разносил гамбургеры. — А шо, вы не шутите насчет заместителя директора фирмы?

— Век воли не видать! Какие шутки? Только не зарывайся...

— За семьсот, за семьсот! — перебил Емелю Давид Ефимович.

— Что ты торгуешься, как в четверг на привозе. Ты же штатный сотрудник! Завтра откроешь дело. Фирму назовем «Недотрога». И запомни: это входит в твои служебные обязанности. Так что действуй, Кирзон! — Заморкин похлопал своего заместителя по плечу, отчего Кирзон втянул живот и выпятил грудь.

Закрутилось колесо. Капитал Заморкина удвоился, и он стал подумывать о расширении дела.

— А что, если твоих сестер и племянниц к делу приобщить? Они у тебя все фигуристые, все при теле, только без дела, — скаламбурил как-то Емеля. Он стал замечать, что Маня за два месяца спала в теле, что могло привести к потере зрительских симпатий.

— У тебя, Емеля, золотая голова! — согласилась Маня и стала составлять списки своих родственников.

— Заработаем на билеты и командидуем Кирзона в Россию.

— Два миллиона уже заработали! — возмутилась Маня.

— Кирзон на те деньги офис прикупил в Нью-Йорке, раз дело расширять думаем.

Кирзон смотрел в иллюминатор на руно нескончаемых облаков. Он возомнил себя чуть ли не Богом. В Россию летит. И не так просто, а по делу, в ранге заместителя директора процветающей фирмы. Это вам не хухли-мухли.

Как увидел Емельян родственников своих, возрадовалось сердце. Фигуристые, румяные, одна к одной чеканят шаг по передвижному трапу.

— Больше пяти на трап не становиться! — закричала стюардесса.

— Взлетели кое-как, — поясняет шефу Кирзон. — На борту паника началась. Бортмеханик в багажное отделение полез, а груза там почти нет. Вы же сами сказали, чтоб налегке летели. Потом только поняли, от чего перегруз получился... Я всех проверил. У женщин все это.... как его... на месте, — словно спохватившись и с явными признаками подхалимажа затараторил Кирзон.

— А куды они деются... Слушай, Кирзон, я за такие штучки высчитаю из твоей зарплаты... за бесплатное, так сказать, созерцание... — хихикнул Емеля.

— Я зам шефа, мне по должности положено, — быстро перебил Кирзон Емельяна, боясь, что крутой шеф примет поспешное решение.

Во всех штатах теперь имеются филиалы гигантской корпорации «Недотрога». Кирзон уже стал вице-президентом корпорации и завел целый штат исполнительных директоров. Дело свое знает и умело умножает капитал своего шефа. Емельян Заморкин — Джимми Заморк по-прежнему живет в доме своего покойного дядюшки, переняв его привычки. Жадность или расчетливость не позволяют ему окружить себя роскошью. Он не ударился в безрассудное расточительство. Огромные средства вложил Емельян в производство силикона, его же крупнейшие медицинские центры занимаются пластической хирургией,

вживляя силиконовые торсы худосочным американкам, что тоже дает приличные прибыли. А из России едут новые партии русских красавиц, сменяя вахту за вахтой, грудью своею закрыв прореху, через которую утекают за границу капиталы.

Потекли денежные потоки из Америки в Россию через «Банк-оф-Нью-Йорк» полноводной рекой. Сбились с ног ЦРУ в Америке и ФСБ в России. Не могут определить происхождение огромного денежного вала. Березовский с Гусинским качают деньги из России, а деньги тут же возвращаются обратно, что поставило олигархов на грань банкротства. Устали березовские, устали гусинские. Нет в мире силы, способной противостоять красоте русской женщины...

— Слушай, Кирзон, как бы с Клинтоном дружбу свести? — спросил как-то Емеля за вечерней рюмкой коньяку.

— Зачем? — испугался вице-президент корпорации.

— Как это зачем? Знаешь, какие дела можно проворачивать? Я о космической программе защиты национальных интересов Америки подумаваю.

— Когда это ты патриотом Штатов стал? — недоверчиво, зная замашки Заморкина, покосился Кирзон.

— Не петришь ты ни фига, Кирзон. Таким же недотепой стал, как коренные янки. Толку все равно от этой программы не будет — наши быстро противоядие найдут, а бабки срубить можно немалые. Как ты думаешь, если мы в Белый дом Меланью Левоходову зашлем?

— Ну, баба она хоть куда, но под каким соусом ее внедрить?

— Ты у меня зам, вице-президент, можно сказать, вот и думай! Но чтоб через месяц она там была! Не то не отдам две тысячи, что Виздох передал, — погрозил пальцем шеф.

— Будет она в Белом доме, и знакомство с Биллом организую, — сразу заверил Кирзон. Ему не давали покоя те две тысячи баксов.

Сдержал слово Давид Ефимович, и уже через три недели стала мелькать на экранах рядом с Клинтоном пышногрудая дама, личный его секретарь Моника Левински. Английский, что так усердно учила Меланья Левоходова, пригодился. И не только английский. Опыт, приобретенный в общежитии пединститута, как показало дальнейшее развитие событий, тоже пригодился.

— Во чешет, как на родном, — ткнул в экран Емеля. — Держи деньги. Можешь не считать, ровно две тысячи. Заработал. А я вчера у Билла в теннис выиграл, — похвастался он Кирзону, переключая каналы телевизора.

— Ты что наделал! Он не любит, когда у него выигрывают. Мне Вьетнамчик, его советник по экономическим вопросам, говорил.

— Ничего, завтра проиграю. Контракт послезавтра подписываю на противоракетную оборону США. Там с МГУ физики приехали, ты их пристрой. Упакуй прилично, а то стыдно смотреть. Нищета. Потом отработают. Такая халтурка им предстоит... У-у-ух! — Емеля потряс кулаками.

Кирзон машинально втянул голову в плечи. На прежней работе ему иногда доставалось, и на сжатые кулаки он реагировал всегда одинаково: вжимал голову в плечи и крепко закрывал глаза.

— Все сделаю в лучшем виде, — вице-президент открыл глаза и расслабился.

— И пару миллиардов перекинь завтра в Москву.

— Вы что, Емельян Лукич? — начал выкать Кирзон. — Ведь только позавчера перечислил. Нельзя частить. И так все газеты как сбесились. Скандал политический разразился. Вон даже Пал Палыча посадили ни за что. За прошлый месяц ввоз в Россию в два раза перекрыл вывоз капитала. Гусинский уже спекся, Березовского из петли вытащили. Нельзя частить, — повторил он.

— Ладно, в четверг перечислишь. И мешков десять баксов грузом отправишь. Там Виздох

получит. В декларации укажешь, что американские флаги шлешь. На фестиваль, дескать... Они и проверять не будут.

— Может, подождать маленько? Нельзя так форсировать. Вон доллар посадили чуть не вдвое. Паника биржевая началась. Клинтон у России заем просит. Зарплату нечем американским учителям платить. Полицейским за прошлый месяц зарплату русской водкой дали. Легче нужно на поворотах. Вам что, новый скандал нужен? И так сыскари уже след взяли, вот-вот появятся, — Кирзон начал заводиться.

— У нас все законно. Куда хочу, туда перевожу. Я налоги исправно плачу. Моя совесть чиста! Моя совесть чиста! Моя совесть чиста-а-а! — уже кричал Емеля, покрываясь потом...

— Успокойся, успокойся! — Маша положила руку на голову Емеле. — Что с тобой? Ты прямо весь мокрый.

Емеля сел на кровати полуоборотом, посмотрел на облезлые обои стандартной московской спальни. Теплом пахнуло от женского тела: Маня прислонилась к спине своего суженого.

— И приснится же такое! Позвони Виздоху. Деньги он Кирзону переслал? Тревожно как-то. В Кремле-то хоть все нормально?

— В Кремле-то нормально! Бородина вот повязали... Ты что, Емеля, свихнулся? — стала

тревожиться жена, поглаживая его лысеющую макушку. — Что это тебя на политику потянуло?

— А в Белом доме, в Вашингтоне-то, все ладом? Клинтон-то хоть как там? — не обращая внимания на замечания жены, продолжал Емеля.

— Импичментом грозят ему, — Маня сделала испуганное лицо и снова приложила ладонь к потному лбу своего мужа, уместив его взъерошенную голову меж своих мягких округлостей, отчего Емеля на мгновение оглох.

— Я всегда тебе говорил, что сестра твоя Меланья Левоходова непростая штучка.

— Ты снова за свое? — взвизгнула Маня, разрываемая ревностью к своей сестре.

Емеля сидел на кровати в семейных трусах, уставившись взором в пол. Телефонный звонок, с трудом пробиваясь сквозь теплые «наушники», вернул его к действительности. Он взял трубку...

— Алло! Вас разыскивает Интерпол... — услышал он ломаную русскую речь. — Ваш дядя Джон Заморк умер...



Орган любви

Санатории-курорты, как известно, в последнее время пустуют. И не то чтобы нет желающих подлечиться. Вовсе не так обстоит дело: нет контингента, электорат не тот, как сказал бы эрудит-реформатор. Кто нуждался в лечении, увы, уже не нуждается, тот, кто пока здоров, о здоровье не думает. Да и зачем думать о том, что есть.

Сейчас больные в больницы-поликлиники не ходят, в санатории, на курорты не ездят — сразу в морг. Общество разделилось на здоровых и умирающих, то есть на краснолицых и бледнолицых. Серединки нет. Как и на богатых и бедных: круглолицых и худолицых, а средний класс отсутствует. Ну, нет середняков. Не выращиваем... уже.

А раньше? Получали среднестатистическую зарплату, среднее образование, жили средне: не сказать, что шибко хорошо, но и не плохо. Каждый в среднем два раза в году лечился по больничному листку и один раз (в среднем 24 дня) имел возможность попить нарзану или на худой конец поваляться в радоновых ваннах, поддерживая таким образом здоровье на среднем уровне.

Ну, а в данный момент нашей истории (приблизительно середина девяностых годов последнего столетия второго тысячелетия) наполовину пустовал межколхозный санаторий в г. Хмельнике, что в самой середине Украины, рассчитанный на среднего здоровья пациента.

Вот эту самую пустоту, образовавшуюся в вышеупомянутом санатории, заполнили бойцами сельскохозяйственного фронта из племени круглолицых. Точнее: на базе санатория решили провести «школу передового опыта» среди председателей колхозов и фермеров (бывших председателей, или «голов»). Расселили их по трое в номере. Они даже ходят тройками и только в столовой или в ванном отделении группируются в краснолицее племя.

Одним вечером бродил по длинным коридорам и стучался во все двери подряд в поисках своего номера Микита из с. Малиновка. Одна дверь оказалась незапертой.

— О, а дэ Микола и Павло? — спрашивает он у обезумевших женщин.

— Какой еще Микола? Вы что себе позволяете?

— А вы, дамочко, што себе позволяете? У бигудях, в халате, з голыми ногами, и к хлопцям? Ай-ай-ай! Говорили мне про городских, но чтобы такая срамота...

— Не заходите! Люба, смотри на это мурло в трусах! Как к себе домой!

— Як цэ, «как к себе домой»? Я отут три дня уже живу! Вон лустра, настольная лампа, графин с самогонкой... Что вы мне очки втираете! Где Микола с Павлом?

На шум прибежала дежурная по этажу.

— Извините, — говорит. — А у вас какой номер?

— Номер? У меня? Я вам что, племенной бык?

— Я имею в виду: где вы живете?

— Я отут и живу, — лицо Микиты налилось кровью и стало красным, как наваристый борщ.

— Здесь я поселила женщин из Киева.

— От это забота про нас! Дай бог здоровья Ивану Макаровичу. Мы только про баб балакали, а вы уже подселили. И прямо из Киева! От это да! А где сало? Мы им окно занавесили, чтоб не подсматривали. Послушайте, а где самогон в канистрах? От это весь остаток, — Микола взял со стола графин и посмотрел сквозь него в окно.

Увидев открытый туалет с белоснежным унитазом, Микита, открыв от удивления рот, изрек:

— Звыняйте, это не наша хата, у нас туалета нет.

— У нас все номера с туалетами.

— А чого ж я тогда на улицу, да под пальму бегаю? Де Микола, паразит? Это, гворит, запасной выход, тута все на природу ходят. Где этот любитель природы? Убью гада! Из-за него в хату попасть не могу.

— Тише, гражданин. Отдыхающие уже готовятся спать.

— Я, дамочко, с обеда в свою хату попасть не могу. Это с моим-то плоскостопием! А вы — тише! А шо это у вас за мода: все двери одной краской вымазали? Как же я домой попаду?

И Микита, сморенный долгими хождениями по коридорам, сел на пол и стал массировать свои босые ноги.

— Бедные мои ноги. Меня даже в армию не взяли из-за плоскостопия и кривошеи. Шея, слава богу, выровнялась, как стал головой кол-госпу.

— Она у вас просто исчезла, — съязвила отдыхающая.

Дежурная как ребенка отвела Микиту в его номер. И он, растроганный до слез, желая сделать приятное спасительнице, зарокотал:

— Налыйте, хлопци, самогону дивчыне, она спасла меня от лютой смерти по причине плоскостопия.

Наутро стайки-тройки «бычков» собрались в стадо перед актовым залом. Главный врач Моисей Соломонович собрал всех отдыхающих для беседы. Он, старый интеллигент, любил пространно и образно объяснять особенности лечения в санатории.

— Должен вам заметить, — заканчивал свою речь старый доктор, — что радоновые ванны весьма полезны и избавят вас от многих болезней, но употребление спиртных напитков может привести к нежелательным последствиям: радоновая вода в этом случае может отрицательно повлиять на ваш орган любви.

При этих словах доктор положил руку на сердце и посмотрел в сторону дружно внимавшего его словам краснолицего племени, которое стало бледнеть прямо на глазах.

Как известно, на курортах отдыхающие заняты, в основном, тем, что принимают разные оздоровительные процедуры (в основном, ванны) и влюбляются. Но так как для любви у нашего суперплемени времени хронически не хватало, то оно дружно посещало бальнеологическое отделение. Во-первых, как не поприимать дармовые процедуры. Во-вторых, ванны принимают все. А в-третьих, это приятно и ненадолго отрывает

от учебы и самогона. Слова старого доктора острым осколком запали в души толстолобого сообщества и заставили наморщить эти самые лбы.

— То шо, правда насчет органа любви? — спрашивал Микита у Павла.

— А то! — емко отвечал ему друг. — Ты же сам слышал.

— Но он же сказал после «приема спиртных напитков». А мы коньяков не пьем.

— А самогон! — не выдержал Микола.

— То шо ж теперь и самогону не попить? Не-е-е, хлопцы, нужно что-то придумать.

— Может, ну их эти ванны? Орган любви дороже! — несмело сказал Павло и тут же истлел, можно сказать, под недовольными взглядами соплеменников.

— Налывайте, хлопцы, я придумал. Не возьмет эта радоновая вода наш орган любви, — Микола хитро хихикнул. — Не возьмешь нас голыми руками, Моисей Соломонович! Микита, дуй к женщинам за резинками для бигудей! Ты у них свой человек.

Сало, самогон и соленый огурец! Знает ли кто более гармоничное сочетание? Задумались? Не старайтесь, не тратьте зря времени: никто не знает. Племя тоже не задумывалось, но именно это гастрономическое трио веселило глаз и душу каждому присутствовавшему на совещании. Расходились далеко за полночь.

В просторном холле сидела отдыхающая и делала вид, что читает газету, попыхивая сигаретой. Ее плечи, спина, обнаженная до самых ягодиц, ждали теплого заинтересованного взгляда.

— Петро, — сказал не в меру громко Грицько, — а сколько голов овец ты бы отдал за эту дивчину?

— Чтобы взять эту «дивчину», нужна всего одна голова, но не баранья, — с московским акцентом ответила незнакомка.

— О, видишь? Одна! Значит, в ней есть какой-нибудь дефект!

— Так дефект налицо: то хиба круп... пхи! Два зубци чеснока! — смеясь, сказал Грицько.

— А Микола молодец! Голова! «Отрицательно повлияет на орган любви», — передразнил старого доктора Петро и сложил кукиш.

Во втором ванном отделении, как всегда с одиннадцати до двенадцати, было свободно. Это время специально выделено для обучающихся «голов». Дружным табунком появились они в коридоре, но сегодня не слышно было привычного гомону. Лица у всех загадочные, с хитринкой: знай, мол, наших. В раздевалке задержались дольше обычного.

— Побыстрее раздевайтесь, водичка стынет, — поторапливала медсестра своих пациентов.

Медсестра Света, как обычно, пошла от ванны к ванной спросить о самочувствии, может, кому водички потеплее добавить. Глаза ее вдруг округлились, она потеряла дар речи. В каждой ванне чуть ниже кругленьких животиков оздоравливающих пузырились полиэтиленовые пакеты с какими-то синими баклажанами, как ей показалось, внутри.

— Что это? — еле разжала она перекосившийся рот.

— Орган любви... в полиэтиленовом пакете, — после этих слов Микита густо покраснел.

— Вам плохо? — не врубилась медсестра и кинулась к телефону.

Через несколько минут отделение заполнилось массой медицинского персонала во главе с главным врачом Моисеем Соломоновичем. Притащили носилки. По санаторию с молниеносной скоростью разнеслась весть, что случилось массовое поражение органа любви. Вызвали городскую кардиологическую бригаду. Собрались зеваки.

— Что случилось? — спросила какая-то дама.

— Остановка сердца. И сразу у всех! — истерично взвизгнула дама из холла.

Выносили по одному. От стыда Микита натянул простыню на голову, что не способствовало нормализации обстановки. Любопытной даме

из холла, хоть и стало не по себе от вида накрытого с головой Микиты, не терпелось посмотреть: что же это пузырится у «трупа» ниже пояса. Она приподняла простыню, и в коридоре случился массовый обморок: «баклажан» приобрел цвет вполне спелого овоща.

Участники научного семинара по сельскому хозяйству, так сказать, «перениматели передового опыта», до конца учебы вели скрытный образ жизни, не появляясь на публике. Питались они остатками сала, запивая его остатками самогона. Они даже выезжали из санатория ночью, дабы избежать бурных проводов.



Музейная игра

Не люблю я музеев. Раньше любил, а теперь не люблю. Новые формы работы, новые формы работы... Везде у них новые формы работы. Теперь экспонаты можно потрогать, теперь их можно пощупать за усы, подержать за мизинный пальчик. Один «пальчик» мраморного мальчика в Эрмитаже уже почти стерли любопытные посетительницы. Говорят, что в некоторых музеях с экспонатами даже можно поговорить о жизни, о той и теперешней. А тут как-то нелегкая меня на «Аврору» занесла. Там тоже новые формы работы. Смотрю: у пушки, что пальнула в семнадцатом, стоит чучело, как мне тогда показалось, того самого матроса. Очередь к нему жуткая. Оказывается, по тому, как ты к нему обра-

тишься, что скажешь, тут же тебя и определят, к какой партии принадлежишь, кому, так сказать, сочувствуешь. Я никому не сочувствую, тем более перед этим накатила малость. А че бы я на «Аврору» поперся? Я всегда моряком хотел быть. Вот, думал, на «Авроре» форму надену и сфотографируюсь. Накаркал: надели форму и сфотографировали...

Занял очередь. Ну, куда народ, туда, как говорится... и мне захотелось. Смотрю: впереди два здоровенных амбала. У одного шея, как у Егора Тимуровича, другой огненно-рыжий с красной мордой. Подходят к чучелу и по лицу. Главное без слов. Потом, как в американских фильмах — бум ногой.

Бедное чучело приняло позу Бори Моисеева. Рыжий снова: с левой, с правой, а толстенький:

— Видите ли, матросик, вы не учли мнение электората.

— Так сказали, что по его требованию и пальнуть нужно, — зашепелявил матросик, сплевывая зуб на палубу.

— Не путать электорат с пролетариатом, — завизжал толстенький.

— Что ты к нему пристал? — спросил тут подошедший кучерявый молодой реформатор, то есть... человек, держа под ручку стройную женщину нерусской наружности. — Если бы не он, твой дедушка книжек столько не написал бы.

— Ты зачем стрелял? За что боролся? — спросила женщина на чистом русском.

— Так, за свободу.

— Вот видишь, как ты ошибся. А нужно было — за демократию, — сказал кучерявый и натянул бескозырку на глаза матросу.

— Так это что, не все равно?

— Нет, голубчик, свобода свободой, а демократия демократией. У нас в России демократия на свободе долго не живет.

— Так что не путать свободу с демократией, — полусшепотом сказал толстенький.

Вдруг замелькало большое табло. В рупор крикнули: «Время!» — и группу общающихся молодых людей попросили за канат.

На табло высветилось: «ДЕМОКРАТЫ».

За канат прошла группа пожилых, шагающих в ногу людей с красными лоскутками, приколотыми к лацканам пиджака. Подошли к матросику, стали кружком, достали поллитровочку. Развернули «Правду», расстелили на пушке, порезали соленый огурчик.

— На, держи, матросик, за труды свои прими и за мучения, — лысый с круглым лицом человек протянул граненый стакан.

— Усы, бороду зачем-то сбрили... В семнадцатом вы краше были. Что ж вы власть-то не удержали? — укоризненно посмотрел матрос на главного.

— Предали нас. Много наших переметнулись к ихним, — лысый кивнул в сторону рыжего и толстошеюго.

После третьей запели «Интернационал».

— А что, слабо ишшо раз пальнуть? — срываясь на крик, спросил не старей еще, с помятым лицом и битыми губами человек.

— Пороху нету, экономический кризис, — заплетаясь, ответил матросик.

Разлили остатки. Смотрю: тот, что с битыми губами, уже пошел в разнос, хватает лысого за ворот:

— Землю там, в Думе, удержите, не дайте продать самое святое! Пока она наша — мы твердо на ней стоим... и стоять будем, — нетвердо шатаясь, скандалил губошлеп.

— Пахать да сеять ее нужно, а не как собака на сене... — скромно озираясь и прикрывая зубы рукой, сказал матросик.

Э-э-эх! Раньше были времена,
А теперь моменты.
Потеряли на хрена
Власти инструменты! —

пьяно затараторила откуда ни возьмись балалайка в руках мужика с битыми губами.

— Хватит! Время! — рупор орал, эхо разносилось по Неве.

«КОММУНИСТЫ» — светилось красным табло.

Потом выскочил какой-то чудной мужик в длинном плаще и кулацкой кепке, только кожаной. Подбежал к матросику, что-то долго неприлично жестикулировал руками, выкрикивал непечатные выражения. Каждая тирада заканчивалась более-менее терпимо:

— Однозначно, твою мать!

Он достал из кармана бутылку водки со своим портретом на этикетке, налил, небрежно сунул под нос матросу. Тот, испугавшись, откинул голову.

— Что, у коммунистов водка слаще? — и он плеснул ему в лицо, потом снова налил и насильно влил матросу в раскрытый от удивления и испуга рот. — Учить вас нужно! Стрельнуть ему захотелось! Не там стреляете! — он орал во все горло и бросал в лицо матросу стаканы после каждой реплики. Запасные стаканы он прятал в плаще. Не остановил его и рупор.

С трудом оттащила добрая дюжина сотрудников музея, закамуфлированных под матросов, темпераментного посетителя.

«ЛДПР» — уже светилось табло разноцветными буквами.

Тут подошла моя очередь. Я прямо с недопитым пивом подхожу к матросу, смотрю ему в глаза.

— Хороши, — говорю, — и те, и другие, и третьи. Одни жалеют, да без толку, другие изверги — сразу в морду. Что, по-человечески нельзя? Вишь, как тебе морду-то надраили. Бедненький. Мне вот кажется, серединки держаться нужно...

Вдруг табло замигало: «ЦЕНТРИСТ», «ЦЕНТРИСТ». Поднялся крик и гам, матрос кинулся меня обнимать, вышли работники музея. Вот уже подбрасывает меня многорукая толпа. Радостно стало на душе, еще приятней стало, когда налили...

Но я рано обрадовался. Оказывается, каждый раз роль матроса выполняет «центрист». Игра такая. Новая форма работы, можно сказать. Матросик снимает свою форму, передает мне и все шепчет: «Выручил, дай тебе бог здоровья». Одели меня в тельняшку, бескозырку, как я и мечтал, сфотографировали и толкнули к пушке, а тут и мужики с толстыми шеями подошли. Игра продолжается...

Пришел я домой поздно, выпивши и весь в синяках, а жена ничему не верит.

Не люблю я музеев.



Уринотерапия

Встретил я как-то своего коллегу Николая. Вместе институт заканчивали. На тачке крутой расписывает. Ну, разговорились мы с ним, и тут он меня спрашивает:

— Слушай, ты вот хирург, а скажи: как ты к уринотерапии относишься?

— Не понял! — говорю.

Я и действительно не понял, почему он меня об этом спрашивает.

— Ну, — начал он, — это когда из своего «сосуда» пить «свою чудесную влагу» с целью своего исцеления.

Во даёт! Смотрю на него, думаю, шутит. Ан нет, глазки аж блестят. Взяло меня возмущение:

— Видишь ли, если бы с сосуда по соседству ещё и закусывать, то,

пожалуй, метод уринотерапии можно бы и признать.

Как он обиделся! Как он обиделся! Я же не знал, что он работает уринотерапевтом и сам тоже попивает...эту самую «чудесную влагу». Ну, прямо уроголик какой-то. И давай он мне рассказывать про этот чудо-метод. Что и мыться этой самой влагой можно, и если примочки к ране прикладывать, то рана заживет и рубцов не остается даже после самых увечных ран. Не надо к Кашпировскому обращаться, деньги тратить. И компрессы на голову делать очень полезно, и геморрой лечить тоже очень удобно. Насчет удобно не спорю, и то, что метод недорогой, тоже согласен. Хотя, судя по «мерседесу» моего коллеги, его советы стоят недешево.

— Как же, — говорю, — тебя, Коля, утразило?

— Меня одна бабка научила. А у нас в поликлинике ставку уринотерапевта ввели, вот и работаю. Да и рецепты выписывать проще. Ты же знаешь, у меня всегда с латынью нелады были.

— Как же тебе твоей чудесной влаги хватает: и душ принять, и компрессы, еще и попить надо? На тебя, поди, вся семья работает?

— Не скрою, — говорит, — бывает, дети выручают. Хорошо, что у меня их четверо. Им потеха, а мне польза.

Представил я себе, как мальчишки (в этом Коле несомненно повезло) направляют свои детские «сосудики» на папеньку, а тот купается в «чудесной влаге», заплетая четыре тугие струйки в хитросплетения своей уринотерапии.

Слышится веселый, задорный детский смех и самодовольное мурлыканье пациента. Мне даже почудился запах этой самой влаги. Стало не по себе. Пора, думаю, сменить тему.

— Ну, а как твоя теща поживает? — спрашиваю.

— Ничего, вроде шустрая старушка. Правда, давление ее замучило, научил я ее компрессы с «чудесной влагой» делать. Помогает. У них в деревне все теперь так лечатся. Лекарств-то нету. Денег тоже. Пишет, что туалет у клуба снесли за ненадобностью. Мужик там экологически чистый, вот и думаем мы наладить в деревне производство капсул «Урина-митте» и «Урина-форте» на местном сырье.

И о чем бы я с ним ни заговорил, все он на свою «влагу» сваливается. Глаза так и блестят. Мочи, что ли, в них закапал?

— Ну, а твой старинный хрустальный кубок, — желая перевести разговор в плоскость искусства, говорю, — еще живой? Ему ведь лет сто, не меньше...

— А что ему сделается? Я теперь из него «чудесную влагу» пью. Надо же, чтобы красиво было.

В этом вся прелесть метода. «Чудесная влага», она хрустала требует.

Ну, любитель прекрасного! Продолжать разговор у меня просто не было никакого желания. Я представляю, что мне пришлось бы выслушать, спроси я его о жене с ее ангинами да мигренями... Мама его страдала хроническим отитом. Бедненькая, у нее в полном смысле эта «чудесная влага» уже с ушей полезла, наверное. Уринотерапевт в семье — это же какое-то стихийное бедствие.

После расставания с Колей я уж точно знал, что ему подарю на Новый год. Он у него совпадает с днем рождения. Но на всякий случай спросил:

— Коля, а что ты больше любишь: молоко или мороженое?

— Мороженое, — быстро ответил Коля. — Только, понимаешь, после мороженого необходимо горло прополоскать «чудесной влагой»... для профилактики ангины.

Прошло два месяца, наступил Новый год. Вырубил я за вокзалом сталагмит. Красивый такой, разноцветный, играет на скупом зимнем солнце всеми цветами радуги. Хорошо, думаю, что в вокзале туалет закрыли. Упаковал я этот сталагмит в полиэтиленовый мешок и двинул к Коле пешком через весь город. Не полезешь же с таким грузом в автобус. За такую «чудесную влагу», если она закапает, можно и схлопотать.

Прихожу к Коле, поздравил его. Вручаю ему сталагмит и говорю:

— Лизни.

Он лизнул.

— Фу-у! — говорит. — Моча!

— Не моча, — говорю, — а «чудесная влага»... свежемороженая.

— Нет, — говорит Коля, — моча.

Взял и выбросил мой подарок с балкона.

— Чудак ты, Вася, — говорит он мне, — времени-то сколь после нашей встречи прошло? Я ведь серьезно подумал над твоим предложением насчет «сосуда по соседству» и теперь занимаюсь лечением фекалиями. Фекатерапия называется. У нас в поликлинике и ставку ввели.

— Неужто дерьмом лечить можно?

— Не дерьмом, а «чудесной мазью». И у тещи в деревне теперь новым методом лечатся. Мы решили на ихнем сырье капсулы выпускать: «Фекафорте» и «Фека-митте». Мужик, знаешь, у них экологически чистый. Так-то, Вася, наука не стоит на месте.

А я уж теперь-то точно знаю, что подарю Коле на следующий день рождения.



Ностальгия

— Эх, Ваня! Давай молодость вспомним. Помнишь наше первое свидание?

— Как не помнить? Три часа на морозе тебя дожидался. Потом больница... Я с тех пор обувь на четыре размера меньше ношу.

— Нет, Ваня, не тогда. Летом, помнишь? Солнце, полевые цветы, вечер, соловей...

— Че-то солнца не помню и соловья тоже. Гуси, помню, тогда потянули на север, дождь помню... со снегом. Я сто пятьдесят стай насчитал... пока ты явилась в болоньевом плаще и резиновых сапогах. Потом больница, санаторий... как не помнить? Такое на всю жизнь...

— Ну, что ты все о плохом?

— Я и о хорошем помню. Помню — доктора были хорошие. С того света вытащили. Хорошо, что я в морге чихнул... А если бы даже не вытащили, то меня уже в рай определили. Я когда проходил собеседование с херувимами, спрашивают: женат? Да, говорю, и назвал твою девичью фамилию. Херувим, что за компьютером сидел, через секунду говорит: тебе в рай, ты свое уже отстрадал... Подожди, говорит, сейчас старший подойдет. Может, тебя канонизируют.

— Эх, Ванечка! А я вот помню, как мы с тобой первый раз поцеловались...

— И я помню... только не все. Тогда еще твоя мать коромыслом меня по голове огрела. У меня с тех пор правый глаз косит. Хорошо еще, что отец твой успел ведро на голову надеть (как он прыгнул на одной ноге?), а то бы лишился я зрения совсем. Выскочили бы глаза. А так об стенку стукнулись и обратно. Правда, слух нарушился, но это даже к лучшему: хоть не все слышу, что ты говоришь.

— Да нет, Ваня, все ты не о том... на лугу, помнишь?

— Это когда я на ежика сел? А потом весь семестр учился стоя?

— Может, ты хоть вспомнишь, какой ты букет цветов подарил мне на день рождения? У Нинки от зависти химическая завивка развилась.

— Как не помнить? Я эти цветы у памятника Ленину сорвал. Потом 15 суток... Вот и накол-ка осталась на груди: «Не забуду мать твою... с ко-ромыслом»

— А свадьбу нашу помнишь?

— Как же забыть? Братья твои крепко меня держали. Старший — руку вывихнул, млад-шой — ножом пневмоторакс сделал...

— А я думала...

— Я что, на Александра Матросова похож?

— А первую брачную ночь помнишь? Ка-кая ночь! Какая ночь!

— Чего не помню, того не помню... слава богу. Я в ту ночь на кислородной подушке лежал в хирургии.

— Ой, Вань, я тебя с кем-то спутала! Да, Ваня! Какие мы были молодые... А теперь... Тебя трудно узнать.

— Ну, конечно. Как же меня теперь узнаешь: косоглазый, в обуви 38 размера, инвалид II груп-пы. Я и сам себя не узнаю. Вот хочу иногда тебя обнять и забываю, что только одна рука. А тебя теперь одной рукою разве обнимешь?



Экзамен

Экзаменатор:

— Расскажи-ка мне, что такое лапа¹ и зачем она путейцу?

— Лапа... Ну-у-у, без лапы, конечно, никуда. Лапа, она всем нужна, особенно путейцу. Так что нам без лапы тоже не обойтись.

— Конкретней, конкретней!

— Ну, вы же сами знаете, что ежели лапы нет, то никуда не сунешься. И у Василь Василича лапа есть, и у вас должна быть, и у нас тоже, к примеру, лапа имеется. Каждый должен лапу иметь. Лапа есть — и на ногах тверже стоишь. Лапа есть лапа...

— Конкретней, конкретней!

¹ Лапа — большой гвоздодер для вытаскивания костылей.

— Ну-у-у, без лапы, конечно, никуда. Что ты, к примеру, без лапы, или другой? Шиш на постном масле!

— Конкретней!

— Видишь ли, если у путеица лапы нету — дело его худо....

— Вот-вот. Почему?

— Если лапы нет, тогда лопату в руки и стрелки чистить! С Василь Василичем шутки плохи. Он не любит, когда без лапы... А лапа есть — в теплушке буржуйку топишь, ждешь, пока почистят стрелки и до костылей² доберутся.

— Вот-вот — костыли. Наводящий вопрос: когда лапы нет, костыли...

— Да кому такой путеец нужен — без лапы и на костылях! Ведомо, что лапы нет — и костыли не помогут.

— А путеиским молотком ты умеешь работать?

— Знамо дело. Лапы нет — молотком машу.

— Так по головке чего нельзя молотком бить?

— Не чего, а почему...

— Ну, почему?

— Больно будет. Намедни ударил по головке... молотком. Глаза сваркой взялись. От

² Костыль — большой «гвоздь» для крепления рельсы к шпалам.

головки рельса окалина отскочила и в ногу. Шибко больно.

— Вот и к технике безопасности подошли. А ты предохраняешься на работе от всяких там неблагоприятных факторов?

— Знамо дело! Щас об этом столько говорят... Я и дома предохраняюсь.

— Я имею в виду — от наездов.

— Чудак ты человек. Кто же на нас наедет? У нас у каждого лапа!

— На дефектоскопе умеешь работать?

— Знамо дело! Не только умею, но и люблю.

— Из чего состоит дефектоскоп?

— Из спирта!

— Еще?

— Дефектоскописта!

— Ну, так. А еще? Ну, дефектоскопист что делает?

— Спирт пьет.

— Ну, понятно, все они пьют спирт, но сначала что он делает?

— Я дак, пока не выпью, ничего не делаю.

— Ну ладно, выпил, будь ты неладен, но потом что обязан сделать дефектоскопист?

— А, вспомнил! Закусить!

— Что ж, понятия есть. Сдал. Следующий!



Ньютон был не прав

— Если бы я не заболел... глаза бы мои вас не видели!

— Какое совпадение! Я бы вас тоже не увидел, если бы вы не зашли. Садитесь!

— А вы что, судья?

— Нет, успокойтесь. Садитесь на этот стульчик.

— А он не электрический?

— Вы какой-то странный, больной.

— А вы, наверное, врач?

— Да, я врач-психиатр. Что вас беспокоит?

— Соседняя стройка.

— Извините, меня интересует, на что вы жалуетесь.

— На земное притяжение. Мне кажется, Ньютон был не прав.

- Почему, голубчик?
- Если бы на вас кирпич упал, вы бы не спрашивали.
- О-о-о-о, голубчик! (С чувством облегчения.) Вам к травматологу.
- Нет. Мне советовали к вам.
- Кто, если не секрет?
- Мне все советуют. И уже давно.
- И с чем же вы ко мне пришли?
- С мыслями....
- Так-так-так, это уже интересно. Может, вы мне расскажете, с какими мыслями вы пришли? Я буду задавать вопросы, а вы — отвечать.
- Вы что, следователь?
- Я врач-психиатр. У меня прием. Я вас принимаю...
- Так я что, стеклотара?
- Все, все, все! У меня уже с вами нервы кончаются.
- У вас так мало нервов? Могу я вам чем-то помочь?
- Чем?!
- Нервами.
- Ну всё! Хватит!
- У вас что — перебор? Боитесь перебора?
- Нет, я боюсь, что могу вас ударить. Вы вывели меня из себя!
- Откуда я вас вывел?
- Вы вывели меня из терпения!

— Теперь я окончательно запутался: откуда я вас вывел: из себя или из терпения?

— Скажите, зачем вы ко мне пришли? Что вам от меня нужно?

— Это мне нужно? Это вам все время от меня что-нибудь нужно: то сядьте, то расскажите, то вы приняли меня за стеклотару. Вы даже хотели меня избить!

— Да-а-а! Ньютон был не прав!



Женский вопрос

Случайно попал мне в руки трактат великого философа современности Кадафи. Читаю: «Женщина тоже человек, и эта истина неоспорима». Кто бы мог подумать? А у меня к нему вопрос имеется. Как же, думаю, задать ему этот вопросик? Телефон в трактате не указан. А что, думаю, если телепатнуть? Напряг мыслительный процесс и послал рукою по-чумаковски телепатлируемый вопрос в эфир: «Если вы утверждаете, что женщина тоже человек, то наша мымра директриса Эмма Львовна тоже человек?»

И полетел вопросик бесформенной массой и ляпнулся где-то далеко коровьей лепешкой, аж в ушах заложило. «Значит, дошел вопрос до адресата», — думаю.

— Ждите ответа, ждите ответа, — забулькала в эфире. Чудеса! — Да, мы, Кадафи, считаем, что женщина тоже человек, и эта истина неоспорима. На ваш вопрос о мымре Эмме Львовне отвечаем: в нашем утверждении речь идет о женщинах...

С тех пор меня тревожит женский вопрос. Смотрю как-то фильм. Там один герой в своей пламенной речи утверждает: «Женщина — друг человека». Я возьми да телепатни в эфир вопрос: «Значит, Любка мне тоже друг?»

Получаю ответ голосом героя фильма и даже со специфическим акцентом: «Да, дорогой, она вам друг, в комбинезоне, пнимаете ли...» — «Почему в комбинезоне?» — спрашиваю. «А потому, что без комбинезона она вам любовница, пнимаете ли...»

Вдруг выбегает моя Машка из кухни и как держала скалку в руках, так и врезала по телепатическому аппарату, в аккурат между глаз. Подключилась, что ли, к эфиру, подтелепатировала? Экран телевизора потух, свет тоже вырубился. «Великая сила телепатия!» — еще успел подумать я.

Свет включился только в больнице. Лежу, рассуждаю о силе телепатии, а «женский вопрос» снова так и лезет в голову. Вот, например: «Баба с возу — кобыле легче». А у меня сразу вопросик. Может, телепатнуть?

«Стоп, — думаю, — это же спрашивать у самого Великого Русского народа! А он так может ответить!»

А, будь что будет! Выписываю разные выкрутасы руками, напрягаю свою перевязанную голову... Не работает телепатическая связь. Замкнуло что-то... после скалки. Вдруг мультик включился. У меня после Маниного угощения мультики начали включаться на заданную тему. Стоит только глаза закрыть.

Зажмурился. Вижу: едет мужик на телеге, а рядом здоровенная баба сидит, на Маню мою смахивает, и машет скалкой перед глазами. Мужик терпел, терпел да как стеганет лошадку что есть мочи. Возок-то из-под бабы и выскочил. Слышу голос за кадром: «Баба с возу — кобыле легче».

А мужик так хитро улыбается и говорит загадочно: «Не токмо кобыле...»

Только я глаза открыл — мультик исчез. Пора, думаю, закрывать женский вопрос, как говорят, на хорошей ноте.



Интервью

Журналист: Сейчас вы услышите эксклюзивное интервью с интересными людьми — известным экономистом, великим реформатором нашего времени, и известным политиком, парламентарием, председателем партии верхне-левой направленности с правым уклоном, центристско-прямолинейного толка. Итак, вопрос экономисту: «Скажите, как вы относитесь к секвестру бюджета?»

Экономист: Секвестр бюджета, несмотря на плюрализм и антагонизм между фракциями, не нашел альтернативного протектирования, и мы его интерпретируем как патологическую неизбежность, к которой необходимо адаптироваться.

Журналист: Как вы, господин депутат, можете прокомментировать сказанное?

Депутат: На каком-то птичьем языке говорит. Это у него с детства, от дедушки, наверное. Но я с ним согласен: хоть и была драка в Думе, бюджету сделали обрезание, и это наша головная боль, но к ней нужно привыкнуть. Однозначно!

Журналист: У меня вопрос к уважаемому экономисту-реформатору: «Что вы можете рассказать о наших фермерах?»

Экономист: Видите ли, в результате антропогенного фактора и небесной корреляции на землю всходит водородная субстанция в виде окисдных осадков. Эрозивность почв, слабая инфраструктура на селе и ментальность деревенского электората — тут не до проблем глобального характера.

Депутат: Во дает! Его же не комментировать, а переводить надо. Перевожу: конечно, насрали везде. Кислотные дожди, негодные почвы, на селе бардак... Короче — фермеры и себя прокормить не могут, ну и пьют к тому же. От себя скажу: если бы его дед не отбирал у крестьян землю и соху, мы бы дорогу или, как говорят в Сибири, зимник выложили колбасой от Ледовитого до Индийского океана. Жуй себе колбаску, положи себе ноги. Ух, так и врезал бы!..

Журналист: Что вы можете сказать об экономике России в целом?

Экономист: Видите ли, России необходимо интегрироваться в мировую финансовую олигархию с целью стабилизации и стагнации нашей дефективной экономики. Игнорирование этого процесса может обернуться большими катаклизмами и эксцессами в наших корпоративных кругах и между коррумпированными группировками, что в конечном счете скажется на демографических показателях популяции.

Депутат: Он же по-русски говорить разучился. Хоть бы дедушку своего читал. Он ведь о чем говорит: правильно, России теперь без Запада хана, а то тут такой шухер будет, что нам крышка и в конечном счете все выйдем, как мамонты. Однозначно!

Журналист: Ну вот Китай живет же!

Экономист: Видите ли, интегрально-сексуальные процессы в Китае, принявшие пандемический характер, являются генетической особенностью данной популяции. Алиментарные перверзии популяции непрезентабельны. Однако у меня есть фобии в отношении возможных инцидентов психогенного характера в приграничных зонах, связанных с аномальным поведением людей, страдающих кахексией.

Депутат: Во прет, во прет, как из нужника. Он и сам, наверное, не понимает, что говорит. А мысль-то правильная: трахаются в этом Китае

где попало и с кем попало. Сам там был, знаю не понаслышке, депутат все на себе должен попробовать. Но они же там голодные, поэтому границу нужно охранять серьезно. Ну, хватит вопросов. Интервью должно быть кратким, как тост. С НОВЫМ ГОДОМ!

Журналист: А что вы можете пожелать россиянам?

Депутат: Чтобы популяция не пускала в правительство таких «дефолтов», как этот экономист.

Экономист: А электорат не выбирал в думу таких экзальтированных депутатов.

Журналист: Что же, лучших пожеланий нашему народу и не надо. С Новым годом!



Оптимист и пессимист

Как известно, круто сваренные оптимисты и пессимисты существенно влияют на нашу с вами и окружающую нас жизнь. Оптимисты мешают жить, своим неумным оптимизмом и чрезмерной жизнерадостностью заполняя все пространство. И фейерверки наших побед и достижений просто меркнут рядом с самой незначительной искоркой в жизни отъявленного оптимиста, раздуваемой им в зарево бушующего пламени прямо на ваших глазах. И приходится вынужденно улыбаться, делать елейно-веселое лицо, чертыхаясь в душе.

Безнадежные пессимисты же, наоборот: своим неброским внешним видом, скромным поведением, бесцветным голосом дают шанс понять

вашу значимость и удачливость. Рядом с ними самый несчастный человек понимает: бывает хуже. И вот уже трудно удерживать маску сострадания на лице при почти ликующей душе.

Если вы хотите испортить себе настроение — поговорите с отъявленным оптимистом, а если вас зеленая тоска держит своей цепкой удавкой — ищите общения с безнадежным пессимистом.

Но нет интереснее занятия, чем понаблюдать встречу этих двух противоположно нацеленных на жизнь субъектов. И такая возможность нам неожиданно представляется.

Еще со школьной скамьи дружили два товарища: оптимист Митяй и пессимист Соломон. Никто не мог понять, что общего находили в своей дружбе краснощекий и громогласный Митяй и бледный «очкарик», припадающий на букву «р», Соломон.

Судьбе было угодно встретиться им лет через десять после того, как вылетели из родительского гнезда.

— Здорово, Соломон! — кричал Митяй. — Сколько лет, сколько зим! Как живешь-можешь? — Он крепко, до хруста в суставах, обнимал Соломона.

— Здагаствуй, Дмитгий! — еле выдавил из сжатой мощными объятиями груди побледневший Соломон. — Вот приехал годителей навесить — болеют.

— Ты о жизни, о жизни своей расскажи!

— Что тут гасказывать. Закончил институт, а хотел МГУ. Женился. Двое детей: мальчик и девочка, а хотелось двух девочек. Живу в Ленинграде, а хотел в Москве. И квагтига только тгехкомнатная, хотел — четыгех. Все, как видишь, у меня напегекосяк... — совсем потерянным, дрожащим голосом закончил Соломон. — А у тебя как?

— Все нормалек, мудрец. Вот приехал, на могилках предков памятник поставил из черного мрамора, чтоб как у людей! Работаю вальщиком леса в Коми: красота! Природа, аж дух захватывает, — бодро и увлеченно распиная Митяй. — Живу в общеае — балдеж! Телок хоть пруд пруди! Утром веером разбегаются! Аж мор-р-роз по коже!

Сидели в местном ресторанчике. Митяй пил дешевую, отдающую ацетоном водку.

— Хар-р-раша, стерва — сладкая, — роко-тал он. — А я ее! — И Митяй потянул на себя невидимые рычаги трелевщика. — Аж мор-р-роз по коже!

Соломон заказал себе граммов сто дорогого коньяку и тянул его уже битых три часа.

— Клопами, стервец, отдает, — разошелся разморенный коньяком «мудрец», и даже буква «р» нашлась, что указывало: «клиент созрел».

Прошло еще лет десять.

— Соломон, какая встреча! Если бы не лысина, я бы сказал, что ты совсем не изменился! — Митяй поднял своего друга детства и закружил, потом поставил на землю и схватился за поясницу, захромал, с трудом сел на стул. — Ну, рассказывай! — как всегда, громко начал Митяй.

— Что тут гассказывать, — Соломон поправил золотую заколку на дорогом галстуке, одернул безупречно сидящий на нем костюм. — Живу там же в Питере. С большим тгудом купил пятикомнатную квагтигу. Так ты пгедставляешь: тти комнаты выходят на севег. Мне все вгемя не везет...

— А я ведь на БАМе теперь тружусь! Шпалой меня маленько шандарахнуло в прошлом годе. Да ничего — оклемался, — бойко продолжал Митяй. — У меня теперь в общеаге отдельная комната. Похаживает там одна путеечка. Иногда обниму — аж мороз по коже!

Митяй еще что-то весело рассказывал, хохотал во все горло, жестикулировал руками, а Соломон весь сник: «Ну почему у меня все так плохо? Живут же люди!» — думал он, слушая друга.

Прошло еще несколько лет. Ехал как-то Соломон с сыном по Москве и случайно заметил знакомую курчавую голову, склоненную над бокалом пива в дешевом кафе.

— Остановись.

Он вышел из «Мерседеса».

— Здгавствуй, Митяй! Давно не виделись.

Митяй с трудом встал из-за стола и, опираясь на трость, хромая, рванул навстречу другу.

— Здорово, мудрец! Как поживаешь?

Потом посмотрел на роскошный автомобиль, на выхоленное лицо Соломона, на рядом стоящую даму, на минуту замялся и тут же бодрым голосом затараторил:

— Меня вот в Москву на лечение направили! Представляешь: в лучшую клинику — вот повезло! Я же квартиру однокомнатную получил как инвалид труда. Представляешь: нужник в хате! Я теперь молочка попью, огурчиком соленным закушу, и в клозет! Аж мор-р-роз по коже!

1998 г.



Три медведя

Открытие охоты. Сколько об этом написано, рассказано, спето с тех пор, когда впервые человек взял в руки камень и швырнул его в лоб динозавру, открыв таким образом первый охотничий сезон. Открытие охоты для настоящего охотника значит не меньше, чем для глубоко верующего человека окончание поста. Разговение... Кто не испытал этого чувства, тому не понять того, что я вам хочу рассказать.

Увлечение охотой каждого индивидуума уходит корнями в глубокую юность его и часто берет начало, как полноводная река из маленького ручейка, то бишь из незначительного факта своей биографии, например: женитьбы. Женитьба для охотника это очень ответственный в его становле-

нии момент, как момент спуска тетивы лучником. Женясь, каждый жених, а потом молодой муж становится потенциальным охотником, приобретая себе жену (читай женщину) иногда на всю оставшуюся жизнь.

Женщины все разные, как турухтаны на току, но их всех объединяет одно: когда вы на ней еще не женаты, ее магнетизм достигает огромной силы и постоянства, иногда кажется, что ничего на свете не существует, кроме этого существа, намазанного медом. Но только стоит вам на ней жениться, как она делает все от нее зависящее, чтобы муж стал охотником и ждал открытия охоты с тем нежным и трепетным чувством, как некогда ждал он встречи с любимой женщиной, отсчитывая медленные секунды. Но не думайте, что любовь охотника к своей любимой женщине, разбавленная прозой жизни, угасла с началом охотничьего сезона. Нет, мои дорогие женщины, ваш охотник так стремится на открытие охоты потому, что ему уже ведомо то чувство, которое он испытывает, возвращаясь обратно. Возвращаясь уставшим, с чувством тяжести в ногах, легкости в рюкзаке и сухости во рту, в свою уютную пещеру, где ждет его ласковая, такая теплая, любимая женщина, часто прозаически называемая женою.

Итак! Медленные минуты истекают. Вот- вот грянет. Тугие, увесистые рюкзаки, кстати, всегда более увесистые туда, чем обратно; начищенные,

надраенные ружья готовы, как космический корабль к полету. Все учтено, ни о чем не забыто: ложки, кружки, туалетная бумага, штопор... Стоп! Штопор! Кто-то удивится: зачем на охоте штопор? На охоте, действительно, он не нужен, но на открытии... Заведется, бывает, в компании некто, кто возьмет с собой нечто, что ни пальцем не проткнуть, ни ножом не выковырять.

Поезд неожиданно вынырнул из тайги. В левых окнах распахнулась широкая пойма реки. Быстро побежали назад разбросанные деревянные избы, и также внезапно остановились под металлический визг колес.

— С полем!

— С полем! — коротко, но многократно аукнулось глухим эхом в эмалированных кружках традиционное поздравление.

Стол накрыли прямо на улице перед избушкой. Двенадцать мужских рук сотворили это чудо-стол, как творит затейливую симфонию оркестр хорошо сыгранных музыкантов. И льется эта симфония прямо над поймой красавицы реки, сдобренная крепким словцом и острой шуткой. Прямо от стола к середине поймы, к реке, извиваясь, бежит тихо и беззвучно ленивый ручей, прорезая высокую траву. И кажется: чуть зазевается ручеек и спрячет его трава так, что не отыскать его уже никогда. Время уже за полдень. Пора собираться на вечернюю зарю.

— Глянь, Сафроныч, ружьишко! Еще муха не сидела!

Через зеркальные кольца отполированных стволов Сафроныч смотрит на необъятные дали:

— Красота!

Прошелестела стая уток прямо над головами.

— Шилохвость шесть штук — вчера семь было, — уверенно изрек Петрович, не поднимая глаз от трудной работы. Каждый охотничий сезон он начинает с того, что сверлит очередную дырку в ремне патронташа — растет.

Не стовариваясь все зацелкали ружьями. Ружья все добротные, новые. Только у Петровича курковка с горизонтальными стволами выбивается из общего ряда: ложе перетянута синей изолентой, приклад, уже изрядно пошорканный временем, походит на кусок старой негодной деревяшки.

— Ты, дорогушенька, хоть бы изредка его чистил, — Антоныч деловито рассматривал верхушки деревьев через темные стволы берданки неизвестного происхождения.

— Ну, все за стол! — не ответив Антонычу, крикнул Петрович. — Глаз направить надо и вперед! Темнеется сейчас быстро. На ту сторону перейдем, а там на грязях нынче утки — море. Давеча ходил, — Петрович положил в рот четверть помидора, — тучами летают. А ты, Антоныч —

ружье, дескать, у тебя грязное. Я охоту уже открыл. Чирки да шилохвость, что ли, сами в шурпу прыгнули?

Вот оно начало! Водная гладь старицы и грязи отливают свинцом в тусклом закате. Тишина!!! Ползешь на пузе к самой кромке грязи, где нахохлились утки. Большими кажутся на суше. Еще немного хочется подползти. Взлетают. И только после дуплета видишь, как падает на воду чирок. Взлетело и справа и слева много уток: и кряковых, и шилохвость, и серая. Сидели они незаметно под самой травой, и только пара чирковых попалась на мушку. Бывает, стреляешь по стае разномастных уток и обязательно выпадают чирки. Закон бутерброда. Чирка охотник стреляет неохотно, чертыхнется обязательно, когда пляшет на мушке эта верткая бестия. Не каждый будет стрелять ее влёт. Но на привале из ведра с утиной шурпой достают ее первой: ни чернеть, ни луток, ни гоголь тут не в почете. Поэтому тосты в таком случае произносят краткие и кружки долго не держат. И только если ты хорошо стреляешь птицу влёт, у тебя есть шанс выхватить из ведра единственного в пестрой компании чирка.

Темнеется, а ты сидишь в высокой траве и слышишь выстрелы своих товарищей; там справа кто-то уже дважды сдуплетил: налетела, видимо, стайка-другая. Вот и на тебя тянет косячок. Бах! Бах! Утка сложила крылья и падает

в траву. И ходишь теперь кругами до самой темноты в траве по пояс, и ищешь эту злополучную птицу, считая чьи-то выстрелы с почти одинаковыми интервалами: двадцать три, двадцать четыре... Это кто-то подранка добирает, расстреливает свою зарплату.

Уже потемну бредешь в избушку с одним чирком в объемном рюкзаке. Недалеко за спиной кто-то громко, вздох рассказывает о зорьке. Слов не разобрать и только слышно: «Бах! Бах!» Впереди уже горит костер и там тоже идет перестрелка: «Я ее бах, бах!» Впечатления переполняют каждую охотничью душу, они (впечатления), как тесто из кадушки, так и лезут наружу. Утиная шурпа уже готова, кружки расставлены, тосты пошли реже, но значительно длиннее: спешить уже некуда...

Слушать или читать охотничьи истории любит каждый, независимо от принадлежности к этому самому правдивому племени — охотникам. А уж рассказать свою историю мечтают все. Но удача не каждому улыбается. За столом всегда бывает один-другой любитель рассказать что-нибудь остренькое, и вставить хоть слово может только самый отчаянный.

Наконец-то мы подходим к самой интересной части охоты — охотничьим рассказам, где нет места ни вымыслу, ни небывальщине. Все, что вы услышите у костра за чашкой чая, чистая как хрусталь правда.

Рассказ первый (Антоныча)

— Слушай сюда, — начал Антоныч. — В прошлом году пригласили меня на открытие охоты в деревню Дилдино. Компания собралась веселая, вооруженная до зубов и очень опасная для окружающей дичи. Добирались туда на катере. По дороге все перезнакомились, и когда садились в старый бортовой зил, друг другу «тыкали» и часто путали имена-отчества. Оказалось, что деревня стоит на берегу мелкой протоки, километра три от Оби, потому и встречал нас этот ископаемый автомобильного зодчества, прозываемый в народе «Труменом». Ни номеров, ни каких-либо опознавательных знаков на нем не было. Брели «Трумена» у местного фермера кто хотел, вернее, кто имел бензин для заправки. Деревня от всего мира была отрезана рекой, поэтому ездить было некуда. Разве что на реку да вдоль протоки километров пять. Зимой фермер таскал на зиле сено коровам, летом-осенью возил охотников и рыбаков от реки до деревни да навоз на огороды односельчанам.

— Короче! — нетерпеливо заметил Петрович.

— Так вот, слушай сюда! Приехали мы в деревню, остановились у местного егеря на краю села — Тит Титыча. Место очень похоже на это: и пойменные травы колышутся так же, только протока пошире будет этого ручья. Моторки по

ней шныряют туда-сюда, а вот катером не добраться: мели, местами завалы. Ни городские рыбаки-охотники, ни рыбохотинспекция в этот медвежий угол не забираются, тем более что местный егерь знает как их отвадить: одним — хорошие отчеты, другим — не хуже начеты.

— Тута простор! Тута свобода! — сказал Тит Титыч, как только мы свалились с борта. Он быстро сориентировался и произвел, можно сказать, сортировку личного состава. Я удивился, как он, бестия, ловко устроил «на отдых» тех, кто уже «отохотился» по дороге. И даже самые шумные и задиристые его слушались. Был там один — все за ружье хватался: «Да я, блин, на фиг, гуся влет!» Мы даже побаивались его: народу в кузове полно. И кто знает, заряжено у него ружье или нет. А тут как миленький — раз и в люльку.

Остались за столом самые стойкие: я, Тит да Шура-Боров, так его прозвали по дороге: фамилия у него Боровой оказалась. Кликуха ему к лицу пришлась. Я, сами знаете, на какой работе проработал: все пропьем, партком не опозорим, егерь еще был свеж, а Шура к зелью оказался стоек, как коммунист к провокациям. Есть еще богатыри на Руси...

— Короче, короче! — снова торопили Антоныча.

— Слушай сюда! — глаза рассказчика заблестели. — Тит Титыч послал двоих местных

рыбаков сбегать моторкой на Обь за стерлядкой. А до протоки — метров сто. Через несколько минут летят наши рыбачки что есть мочи к нам, руками машут, что-то невнятное орут, назад оглядываются. Перепуганные, прямо ни живые ни мертвые. Подбежали. Рыжий на нас кинулся: «Вы же охотники, делайте что-то с ними! Они же рыбачить нам не дают!» Другой — здоровый детина тоже: «Мы идем к лодкам, а они в ручье купаются». Рыжий перебивает: «Лодки переворачивают! Там их трое: медведица и двое медвежат!» Глаза у рыбаков перепуганные, перебивают друг друга: «А пестун давай лодку качать». — «Брызги в разные стороны...»

Смотрю: Тит Титыч в лице переменился. Это потом я узнал, что в прошлом году медведица с медвежонком местного жителя поломала, теленка задрала у местного фермера.

Наш егерь уже пули на ходу в карманы набивает, ружье наготове.

— Побегу, — говорит, — наперерез, некуда им деваться, все равно в гриву пойдут.

Я тоже ружье расчехлил, пули зарядил. Шурик тоже готов к бою. И в самом деле видим: возле лодок вдалеке копошится кто-то. Рыбачки наши уже за столом. Успокоились вроде, вино угомоню напахнуло. Только повторяют нетвердым языком:

— Делайте что-то с ними, вы же охотники.

— Они же рыбачить нам мешают.

Тот, что «гуся влет», проснулся:

— Что, медведи? Да я, на фиг, гуся влет! — Достает ружье и по медведям из пятизарядки: бах, бах, бах, бах!

Не стало вроде медведей, потом снова шевельнулись. Тут и Шурик начал поливать, там и я подключился. Снова вроде медведи притихли. Дело уже к вечеру. Осенью солнышко быстро прячется. Титыч орет:

— Не стреляйте просто так. Прицельно бить надо! — и выстрелил по шевельнувшейся мишене дуплетом. Медведь рявкнул.

— Завалил, вроде! Не подходить! Вдруг подранок — в траве его не видать, вмиг заломает! Трава-то, вишь, по пояс!

Тут уже по всей деревне слух пошел, что охотники наконец освободят деревню от постоянной угрозы со стороны медведицы-людоедши. Канонада-то слышна в каждом доме, да и телефон испорченный в каждый дом принес весть, что приехала из города бригада опытных медвежатников по вызову егеря. И все знают, что коварная, подняла свои грязные лапы на имущество рыбаков: поломала лодки, изувечила моторы. Чудом, дескать, Рыжий и Черкес остались живы. Деревня словно вымерла. Сидят все по домам как мыши и ждут победных известий. И только горе-рыбаки ходят от дома к дому и везде их поят недостоянной

брагой в обмен на незатейливый рассказ об озверевших медведях.

— Подходим к лодкам, а там медведи. Старшая уже за румпелем. Я ее веслом, — с пеной у рта распинаяется Рыжий.

— А я шарю — ружья нету, Титыча, го-рю, нужно звать, а то всю шкуру испортим, — уже невнятно вторит ему Черкес.

И все слушают их. Бабы охают, мужики сочувственно поматывают головами: как же ружья не оказалось под рукой.

— Дальше, дальше! — уже с нетерпением подгоняют друзья Антоныча.

— Слушай сюда, — крикал после очередной рассказчик. — Стемнело. Заняли мы оборону, но в атаку идти не решались.

— Может, она в траве, раненая, затаилась, — кричит Титыч. — Шурик, беги к фермеру — «Трумен» нужен! Теперь без техники не обойтись!

Уже крошечной теменью подъехал Шурик вместе с фермером и его братом. Тоже с ружьями. Попрыгали все в кузов — и к лодкам. Каждый готов был выстрелить по любому шороху. Напряжение нарастало. Ищем фароискателем — ничего. Из кузова никто не спускается. Хотя и подогретые все, но помнят наказ Титыча. Только тот, что открыл канонаду, орет с пеной у рта: «Да я, на фиг, гуся влет!» — но тоже из кузова ни-ни. Только у самых лодок на грязной тропе нашли

четко отпечатанные медвежьи следы. Правда, все маленькие.

— Она где-то в траве спряталась, — нагоняет страху Тит Титыч.

Но так и не нашли большой след медведицы-хулиганки. Ни медвежат, ни мамки-хищницы, только рыба раскидана по тропинке да рюкзак лежит. А следы медвежат теряются в густой траве... Так и вернулись ни с чем. Попили чайку и решили ложиться спать: утро вечера мудренее.

— Медведей, медведей-то, что — бросили? — не выдержал Сафроныч.

— Медведей-то вовсе и не было! Слушай сюда! В то время, когда наши горе-рыбаки Рыжий с Черкесом по заданию Титыча подходили к лодкам, прибыли с рыбалки другие рыбаки с уловом. Привязывают они лодки, вычерпывают воду и только взвалили увесистые рюкзаки, как по ним открыли огонь. А рыбаки эти еще те! Любили они иногда проверить чужие сети. И на этот раз у них рыльце в пушку было. Вот и решили они, что пришла «за все хорошее» расплата. Растеряли они и рыбу и рюкзаки (один рюкзак, кстати, прострелил-таки Титыч) и, как стемнело, по овражку в высокой траве приползли незаметно в деревню, зашли к одному домой и просидели до утра тихо, боясь расправы. Только утром признались они в своих грехах, а заодно и прояснилась странная картина этой странной облавы.

— А следы?

— Так они же ползали на корячках, вот и наследили руками. Тут еще не конец. Вся деревня полнилась слухами, что медведицу-террористку ранили, и она ночью обязательно посчитается за нанесенную обиду. Естественно, никто не знал, на кого выпадет крапленая карта.

— А медведица-то в первую руку будет искать того, кто первым начал стрелять, — пошутил Титыч, — и пока не снимет скальп, не успокоится. Шибко медведи мстительные.

— Почему я, почему я? — запричитал тот, что «гуся влет». — Антоныч тоже стрелял...

Все в деревне позапирались, сидят по домам в страхе. Восемь пар стволов дежурили в доме егеря. Дух бодрости и непоколебимости поддерживали привычными средствами.

Только тот, что «гуся влет», забился в угол и все причитал: «Почему меня? Антоныч тоже стрелял...»

Разоблаченные рыбаки, любители до чужого, перепуганные вусмерть страшным обстрелом, пришедшие с повинной, притащили снятую из чужих сетей рыбу.

— А мы, эт самое, смотрим: идут вроде Рыжий с Черкесом, а потом увидели нас и побежали в избу Титыча, — рассказывал один из пострадавших, — ну, думаем, попались. Заложил кто-то, что мы сети Титыча потрусили.

— Потом бах, бах! Мне вот рюкзак пробило, — продолжал другой.

Посмотрел я на этих рыбаков: стоят у порога перепуганные, все трое росточка маленького — метр с шапкой. Жалко смотреть. И думаю про себя: «И кого же из них Рыжий с Черкесом за медведицу приняли?»

А Черкес и Рыжий в это время спят себе и в ус не дуют. Еще и улыбаются во сне.

— Счас бы, блин, стерлядочки к водочке! — это уже Титыч отошел от ночного кошмара, улыбается в бороду.

— Вот она, Титыч! — и «медведи» положили на стол полиэтиленовый пакет со стерлядью. — Твоя это.

Вот тут только мы расслабились. Все хорошо, что хорошо кончается.

Рассказ второй (Петровича)

— Это было на Урале. Собрались мы с другом на открытие. Первая суббота сентября. Зарядили накануне патроны, собрали все необходимое с вечера, условились, что я захожу в пять утра (в это время еще темно) к Шаману, такую кличку ему дали уже давно за когда-то вечно растрепанную вороную шевелюру и крупное со страшилкой лицо.

Теперь Шаман облысел, лицо его стало круглым, как осенняя тыква. Этот факт, кстати, сыграл не последнюю роль в моем рассказе.

— Что-то мне нездоровится, — уже перед моим уходом сказал Шаман. — Нехорошо внутри.

— Не выкручивайся, — говорю ему, зная, что он стал тяжелым на подъем.

— Ну, ладно, я ведь не отказываюсь.

А дальше все пошло наперекосяк. Закрутило Шаману живот. Только сбегает на двор (у него все удобства во дворе), как снова его туда тянет страшная нужда. Жене ничего не говорит — страдает в одиночку. Уже избегался весь.

— Ты че все дверями брякашь? — осерчала на него жена.

А он:

— За погодой наблюдаю, соображаю, что одеть завтра.

А она:

— Че-то подолгу наблюдашь! — и принимается к нему: не пахнет ли от него женскими духами. Шибко ревнивая она у него. А от него какими там духами....

— Я, пожалуй, в стайке заночую.

Позвонил он мне вечером, сказал, что будет спать на чердаке в стайке. Собрал он рюкзак, взял что потеплее одеться, одеяло — и на чердак. Жена, пока не удостоверилась, что он на ночлег устраивается, не успокоилась. Ну, а Шаман, когда стем-

нело, залез на чердак, раздвинул жерди, снял штаны, лег на спину, да так и проспал до утра, избавившись от необходимости каждый раз бегать туда-сюда.

Утром, как условились, я захожу в стайку, включил фонарик и направил луч в потолок. Тут меня как токомшибануло: лысая башка Шамана между жердей свешивается. Посинела уже. Я обомлел, ноги подкосились, даже голос куда-то девался. И чуть не шепотом кричу:

— Толя! — а он молчит. — Толя! Толя! — молчит.

Меня в пот бросило, какой-то комок противно перекрыл горлянку. «Умер» —шибануло в голову. К тому же вчера на здоровье жаловался. Выскочил я из стайки, кричу:

— Люда! Люда!

Выскочила Людмила на крыльцо.

— Че надо?

— Толя умер, — выпалил я.

Она как завоет и в стайку, я с фонариком за ней. Фонарик навожу вверх, а там Толя проснулся и аккурат штаны натягивает на свой синий от ночного холода зад.

— Че орешь как недорезанная, — говорит.

— Ах, это я недорезанная!? Ишь, устроился с шалавой своей. Штаны не успел застегнуть, кобель шелудивый. Я те покажу недорезанная, я те покажу Зинку, я те покажу охоту, я те покажу...

Я вышел на улицу. И смех меня душит, и не могу отойти от потрясения. Людмила забежала, засуетилась и все повторяет:

— Я те покажу, кобель шелудивый, я те покажу...

Зашел я в дом воды попить: шибко в горле пересохло от волнения. Смотрю в окно: побежала Людмила к стайке с чайником. Не успел я дух перевести да успокоиться — полыхает уже стайка. Людмила, оказывается, соляры из чайника налила на сухую деревянную стенку стайки и подожгла. Они печку солярой разжигали. Пламя полыхнуло сразу и набрало силу пожара. Шаман выскочил уже через выломанную дыру во фронтоне, зашиб колено. Прыгает вокруг, орет благим матом.

Вызвали пожарную. Пожарники приехали, когда стайка догорала на глазах сонных зевак. Все стоят, не шевельнутся, только Людмила бежит и причитает:

— А-а-а, распутная! Не успела штаны одеть! Сгоришь синим пламенем! Так тебе и надо, будешь знать, как на чужих мужиков зариться!

Тут заволновалась толпа: как же — человек остался в огне.

— Да никого там нет, — как-то обреченно сказал уже притихший Шаман.

— Уже нет! Сгорела твоя Зинка! — громко, чтобы слышали все, истерично закричала Людмила.

Несмотря на усилия пожарных, стайка догорела и задымила. Кто-то, длинным крюком растаскивая бревна, выволок на пепелище кусок обугленного скелета. Ребра оголились от огня, смешались с пеплом. Все замерли. Людмила села на землю и запричитала:

— Я не хотела!.. Не хотела я!..

Шаман залился смехом:

— Сгорела грудинка. Только тесть поросенка зарезал. Еще даже не попробовал.

К толпе подошла миловидная Зина:

— Что случилось? Наверное, проводка? У меня в прошлом году тоже баня от проводки сгорела.

— Прости, Зинаида, прости, соседushка! Грех на душу взяла! — голосила Людмила.

Вот вам и охота. А стайку мы помогли Шаману отстроить. Помогала вся улица. Через две недели стояла у Шамана новая стайка, лучше прежней.

— Только жаль, что потолок сплошной сделали, — сетовал Шаман.

Рассказ третий (Николая Александровича)

— Напросился с нами как-то на охоту директор поселковой школы, человек азартный, подвижный, с вечно широко открытыми глазами, брат

моего приятеля. Всему он удивляется, все для него в лесу как будто ново. Дичь он видел только добытую братом или на картинках. Бывало, возьмет чирка и говорит: «Ты зачем утенка убил?» Или: «А это что за птаха?» — и поднимает косача. «Косач», — говорю. А он: «Почему косач, у него что, глаза косые?»

Ну, вы поняли, какой он был охотник.

Отсидели мы зорьку на утку и пошли березняками косачей посмотреть. Наш-то охотничек ходил, бродил и, как в русских сказках бывает, когда дуракам везет, убил косача. Ни рюкзака ни ягдаша для дичи нет и, чтобы не таскать его в руках, положил он косача под приметную березу. Ее молнией шандарахнуло, и все знали эту старую березу без верхушки как верный ориентир. Следом шел его брат, опытный охотник. Видит: ястреб-тетеревятник сидит на увечной березе. «Вот, — думает, — почему косачи исчезли враз. Затаились они». Прицелился, шлепнул его, подходит к березе, а там рядом с тетеревятником лежит еще теплый косач. Брательник подумал, что тетеревятник сбил в полете косача и собирается трапезничать. Забрал он косача и направился к месту сбора охотников. Там уже костер, шурпа кипит утиная.

Рассказал он нам историю про чудом добытого косача, показывает матерого косача — вороное перо с поврежденным хищником крылом. Такие истории нечасто встречаются. Начали вспо-

минать подобные случаи. Я рассказал, как на моих глазах ястреб напал на летящую стаю уток и схватил на лету одну, и та так орала и отбивалась, что вырвалась-таки из его когтистых лап...

Незаметно подошел директор, прислушиваясь к разговору.

— Мужики, — начал он с восторгом, — и со мной сегодня интересный случай произошел. Я бы сказал — невероятный. Даже не знаю, как и рассказать. Вы можете не поверить... Убил я косача, положил его под березу во-о-о-н ту, без макушки, — он указал рукой, — чтобы не таскаться с ним. Через полчаса прихожу, а на том месте лежит ястребдохлый, а косача нет. Обшарил я все вокруг — нет птахи. Тут я смекнул: он же сожрал его и сдох. Сожрал и сдох! Кому расскажешь — не поверят.

Мы сначала похихикивали, а потом взорвались дружным хохотом. А он не поймет, отчего мы смеемся, и продолжает:

— Вот и вы не верите.

Мы еще громче, а он:

— Теперь я верю, что на охоте всякое случается. Раньше я не верил этим байкам. А тут сам же вижу: сожрал косача и сдох. Куда только влезло?

— Перья хоть остались от твоего косача? — спрашивает сквозь смех брат.

— Какие перья? Все, скотина, сожрал, подчистую вместе с перьями. Потому и сдох: подавился.

Рассказ четвертый (Петровича)

— Знал я двух товарищей. Вместе охотничали. Друзья — не разлей вода. Но спорили между собой по любому поводу: то ружье у одного лучше бьет, то нож у другого острее, а то из-за дичи поспорят — у кого глухарь крупнее. Обое упрямые, друг другу уступать не хотят, но и на охоту один без другого не ходят. Все вместе. Вот и на этот раз возвращались они вместе в таежную избушку. Вот один и стал распекать своего друга:

— Да у тебя ружье сыпет, вот у тебя подранки уходят. Да ты с пятидесяти шагов мне в задницу не попадешь.

— Я не попаду? Смотри пожалеешь...

— Вот придем в избу, посмотрим. Я спорить могу, что не попадешь. При свидетелях стрелять будешь.

А сам выковырял дробь и положил в патрон моху и сверху пыж стандартный заводской с отметкой «1».

В избе уже чай наливают, собралась вся компания.

— Сейчас посмотрите, как этот охотник мажет. Мы поспорили, что он с пятидесяти шагов в задницу не попадет.

— Кто задницей жертвует? — спросил кто-то.

— Я, — ответил спорщик.

Достает свой спецпатрон, отдает другу вместе с ружьем и отходит на положенное расстояние. А тот смотрит на патрон — «единичка».

«Крупноватая дробь, — думает друг. — Хоть и завел он меня, но друг ведь — жалко крупняком по заднице».

Достает свой патрон с мелкой дробью «бекасинником». Заряжает...

И тут рассказчик замолк.

— Ну и как, попал? — смеясь, спросил Антоныч.

— Попал. Кучно заряд лег... — как-то обреченно изрек рассказчик.

— Друг-то как там, на большухе, поживает?

— Нормально, только скучает по Северу... Так вы эту историю знаете?

Петрович почесал то место, где у него до сих пор катаются под кожей мелкие дробинки.

— Ну, что ж, давайте за друга моего выпьем, — добавил рассказчик. — Жаль, что он далеко. Обещает приехать.

Разговор как-то сам по себе угасает, как и костер, в который давно уже никто не подкладывал дров. Вечер переходит в ночь, небо вызвездилось, что обещает утренний заморозок.

Друзья-охотники выходят из-за стола, рассаживаются вокруг костра с кружками чая, подкладывают сухого хвороста, костер вспыхивает

с новой силой, выбрасывая в темное небо снопы искр, которые, смешиваясь со звездами, придают праздничность и величавость этому застолью. Установилась тишина. Ночная прохлада, приятно сочетаясь с нежным теплом от костра, располагает к раздумьям и быстро нагоняет дремоту.

— Ну что? Спать! — вяло командует Петрович. — На утреннюю зорьку подниму затемно.

Охота продолжается. Завтра утренняя зорька, скоротечная как миг. Пока швыркаешь чай, уже начинает светать. Дойдешь до грязей — уже и солнце взошло, а там и лёт утки закончился — и домой.

В поезде все заваливаются на свободные полки. Усталость наливает веки свинцовой тяжестью. Не все пассажиры понимают охотников, от которых пахнет костром, лесом и еще чем-то непонятным, но с завистью смотрят на сморенные лица, улыбающиеся во сне.



НАШЕ ВРЕМЯ

(вместо эпилога)

Нам выпал жребий жить сейчас, в наше время. И хочется пройти свой путь спокойно, не затоптав следы предшественников, запомнив все как есть, и сохранить для тех, кто придет после нас на эту землю, свое восприятие своего времени.

Не бегите стремглав, шлепая громко тяжелыми сапогами и заглушая слабеющий голос истории! Остановитесь! Вслушайтесь в шепот мудрой старины, всмотритесь в нечеткие блики нетленного бытия исчезающих цивилизаций. Пока еще можно что-то разобрать в заплетающемся языке древности.

Но вам некогда. Вас подгоняет ваше время. Так спешили предшествовавшие нам тысячи поколений. У них тоже было свое время.

Дети смотрели глазами родителей на удивительный мир и передавали этот взгляд, как эстафету, своим детям. И нет ничего удивительного в том, что Боккаччо, Шекспир, Пушкин, Высоцкий, наконец, смотрели на мир одними глазами. Они были ровесниками. Они питались молоком одной матери, они играли в одни игры. Они весело и беспечно бегали по лужайке, дразнили друг друга... Они любили одних женщин, они одинаково о них писали: с восторгом и любовью, читали им стихи, пели песни. Они писали о них в одно время, в наше время. А может, и мы с ними играли в детстве, бегали по одной лужайке... Мы просто не помним. А может, наша прародительница брала на руки Джованни, вытирая ему платочком нос?

Хочется заглянуть в прошлое...

Хочется до зуда в руках и мозгу.

Так когда-то хотелось заглянуть внутрь игрушки, потому что интересно, почему крутятся колеса и жужжат. Интересно.

Потом хотелось узнать, что написано в толстых книжках.

Потом хотелось обнять женщину и открыть для себя новый мир любви и разочарований, счастья и страданий.

Потом хотелось чему-то научиться, хотелось всем помочь, каждому посочувствовать, поучаствовать в его судьбе.

Но вдруг пришло понимание, что все закономерно и целесообразно. Что дети не только радость, но заботы и тревоги, и что у них своя жизнь, свое время. И при попытке погладить отводят твою руку. А тебе хочется погладить своего ребенка. «Я тебе что, ребенок?» — слышишь от взрослой дочери.

Да, ребенок! Для меня. Даже когда мне будет сто, а тебе восемьдесят, ты и тогда будешь моим ребенком. И тогда тебе захочется, чтобы я погладил твою седую голову. А кто погладит? Правильно. Внучек или правнучек... моею рукою. А ты ему назовешь мое имя? Ты расскажешь ему обо мне, о моем времени? Расскажи! Возьми фотографии. Он тебя будет слушать. Это родителей он не слушает, отмахивается от них, потому что они отмахиваются от него. Им некогда. У них свое время, период закономерностей и целесообразности. А у тебя этот период уже прошел. Ты-то знаешь, что не все в мире закономерно и уж тем более не все целесообразно. Так что рассказывай, рассказывай.

Нашу память кто-то должен стеречь, хранить.

Мы должны быть хорошими часовыми памяти наших предков.

Отстоял свой срок — передай вахту следующему.

И чтобы ничего не растерялось.

И если есть кому рассказывать и есть кому слушать, то НАШЕ ВРЕМЯ прошло не зря.

Содержание

На взлете	5
Наше время. Рассказы. Повесть	9
Зимник	11
Тишка	22
Любимое время года	41
Осень	57
Душа неприкаянная. Повесть	88
Боль	167
Схватка	190
Наука	217
Одна беда не ходит	225
Сюрприз	246
Полезный совет	261
Расстрел	271
Сплошная невезуха	281

Всяк забавляется как может. Юмор	293
На вираже	295
Алло, Вас разыскивает Интерпол	299
Орган любви	315
Музейная игра	324
Уринотерапия	330
Ностальгия	335
Экзамен	338
Ньютон был не прав	341
Женский вопрос	344
Интервью	347
Оптимист и пессимист	351
Три медведя	356
 Наше время (вместо эпилога)	 379

Выражаю благодарность
ТФ «Мостоотряд-95»
и лично директору
Смехову Николаю Александровичу
за моральную и материальную поддержку

Валерий Михайловский
ЗИМНИК

Редактор Н. Смирнов
Дизайн и верстка В. Исхаков
Корректор М. Попова

Подписано в печать 5.05.03 г.
Формат 84x108/32. Усл. печ. л.20,16. Гарнитура «Миньон».
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 282

ООО «СВ-96»
620086, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1/1.
Для писем: 620109 г. Екатеринбург, а/я 68
e-mail: sv-96@ru66.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
<http://www.uralprint.ru>
e-mail: book@uralprint.ru



67862004

Окружная библиотека

